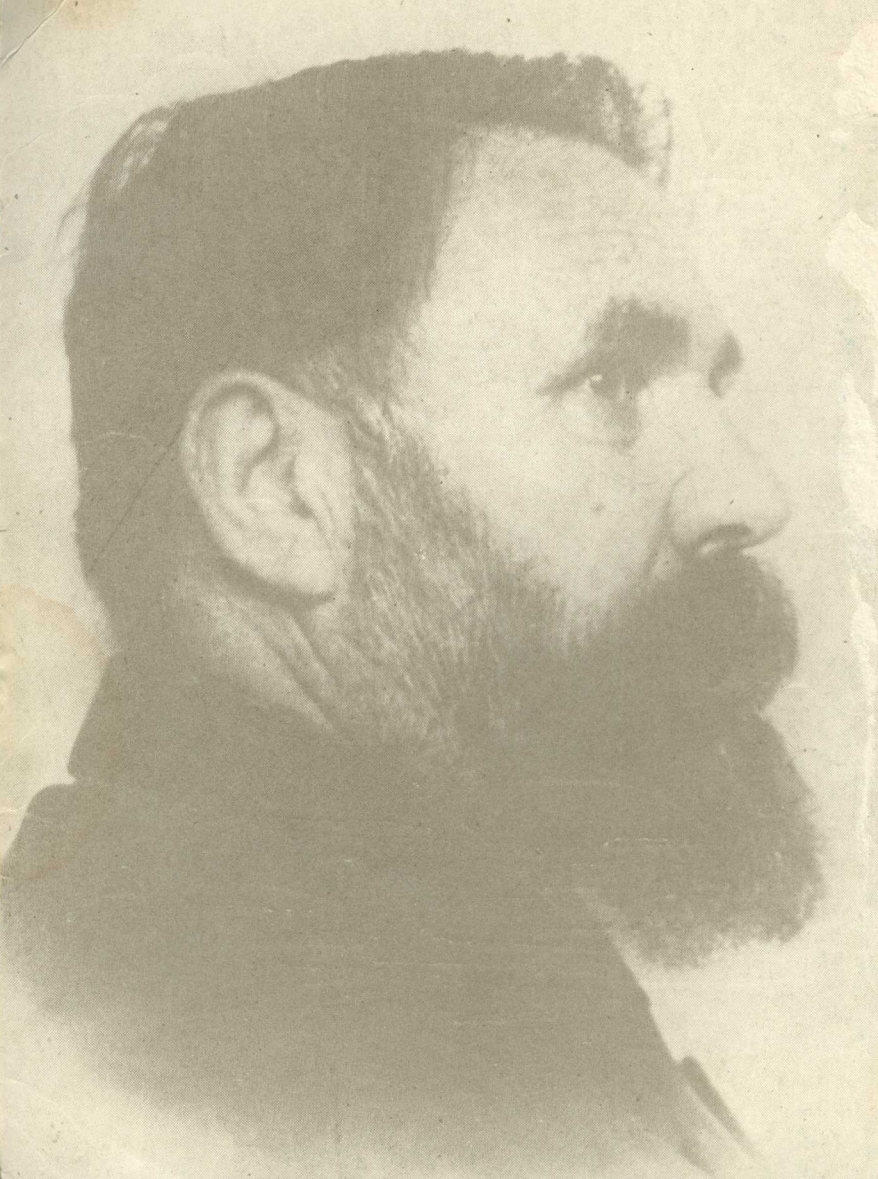


ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ





ГАЛАКТИОН
ТАБИДЗЕ

СТИХИ

Вольный перевод с грузинского
ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА

Главная редакционная коллегия по делам
художественного перевода и литературных
взаимосвязей при Союзе писателей Грузии

ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ



Издательство «Мерани» Тбилиси, 1979

Г 2
899.962.1—1
Т 122

Редактор-составитель Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ

Т $\frac{70403-16}{M604(08)-79}$ 113—79

© Издательство «Мерани» 1979

Владимир Леонович — один из блистательнейших и самобытных русских поэтов сегодняшнего дня. Но как бы мощен ни был старт любого поэта — впереди всегда та или иная дистанция, которую следует преодолеть для того, чтобы самые прекрасные стихи образовали поэзию. Вот на этом-то пути для Владимира Леоновича решающей оказалась встреча с Грузией и грузинской поэзией, а главное, с незакатным солнцем ее — Галактионом Табидзе. Встреча с Галактионом была равносильна новому обетованию и обретению веры. Поэтому, начиная с этого дня, стихи ли самого Леоновича, переводы ли из Галактиона или напряженные, нарастающие раздумья о нем — в стихах и прозе, в переписке и «на полях переводов» — все уже оказалось живущим под знаком этого исповедания веры, с органичностью всякой истинно универсальной идеи, слившейся для него с миром Пушкина и Гете, Шелли и Верлена. И тут произошло чудо, конечно же, духовное, но имеющее и все признаки биологического — произошло как бы сращение голосовых связок поэтов, которые в жизни и не встречались, и один из которых ушел из жизни едва ли не раньше, чем произошло поэтическое рождение второго. Уже вступив в самоуправляемую стихию переводов из Первого, Второй поэт возликует, ощутив это родство, и взмолится к читателю, который мог бы все это иначе, не по законам чуда, а по подсказке привычки, истолковать:

**Милые и дорогие,
я смешал во время оно
с воздухом Галактиона
тайнословье литургии.
Только имя не сказалось
в голубом небесном дыме.
Не руби, когда связалось
связками голосовыми!**

А вот и еще одно выражение — обнажение — состояния поэта, погружившегося в стихию сорадования и сотворчества в своих галактионовых преобразованиях:

**Задохнулся — и на русский
перевел в слезах от счастья
вашу негу, ваши сласти
без усушки и утруски.
Я глядел во глубь колодца
и еще не знаю ныне,
может, веточка привьется
и российской древесине!**

Веточка привилась к плодоносящему российскому древу поэзии Владимира Леоновича. В этом легко убедиться, сравнив его «догалактионовские» творения с последующими. «Ферментальное» наличие здесь Галактиона очевидно. Речь, конечно, не об обычном влиянии, которое в пору «годам учения», а о добровольном и даже неизбежном выборе зрелой и могучей души поэта, пустившейся в странствия и обретшей великого союзника на мировом Парнасе. Так делал сам Галактион не только в своих руставелиевских и бараташвилиевских, церетелиевских и чавчавадзевских родословных устремлениях, но и в пушкинских, лермонтовских, шеллиевых, верленовых и блоковских пристрастиях. И если уж считаться с тем, что воистину «связалось связками голосовыми», не удивляться нужно, смущаясь, а радоваться, гордясь и наличию галактионовских обертонов в поэзии Леоновича, и «смешению» в его переводах «тайнословия» его — Леоновича — «литургии» с «воздухом Галактиона», со «взыскательно-гостеприимной, великодушной средой его поэзии.

Погружаясь в работу над Галактионом, Владимир Леонович в одном из писем по этому поводу, так размышлял о цели и смысле предпринятого им странствия в мир поэта: «Как художник ведет линию рукой и всем корпусом сразу — я старался все писать — Судьбой. Это всегда необходимо, но этого не всегда бывает достаточно. Мне хорошо помогли замечания об интонации, о ритме, о настроении. Но мне нужно и другое — с фонарем пройти, все-таки, по всем этапам этой жизни». Вот такую готовность, такую «изготовку» предполагает подвиг переводчика и такие требования подразумевает он. И все мы обязаны были хоть в какой-то мере ответить на эти требования — да, именно, с фонарем пройти по всем этапам жизни Галактиона, осветить русскому поэту все сферы

рая, чистилища и ада его судьбы. А Леонович далее уточнял на конкретном примере свое понимание задачи: «Из всех переводчиков Галактиона лучшей, по-моему, Белла Ахмадулина, и ее метод — лучший, с моей точки зрения. Он заключен в поговорку: подальше положишь — поближе возьмешь. Связан он и с заповедью — «что отдашь — то твое». То есть — всю любовь, всеми разношерстными об авторе сведениями, всем состраданием — по поводу данного подстрочного изложения стихотворения! Всегда — всю собой!..»

И действительно, переводы Владимира Леоновича из Галактиона — особенно из той заветной сферы его поэзии, к которой никто еще до него не прикасался с такой священнодейственной силой, — как раз и доказывают, вслед за блистательным опытом Беллы Ахмадулиной, свершившей чудо «переселения души» в иную созвездии «галактики Галактиона», что все-таки суждены вторая жизнь и выход на внегрузинскую орбиту, казалось бы, «вовсе непереводимой» его поэзии. А упомянутая нами «заветная сфера», меж тем, объяла и те **десять дней, которые потрясли мир**, очевидцем коих в Москве и Петрограде, а сверх того и создателем первой лирической партитуры тех дней был Галактион Табидзе, так же как Александр Блок был творцом первого эпического воплощения Музыки революции в своих «Двенадцати». А за десять месяцев до этого, еще в родном Кутаиси, при первой вести о февральском крахе самодержавия, Галактион тут же создает свои «Знамена!», опубликованные в первом номере только что начавшей выходить социал-демократической газеты, 13 марта 1917 года, т. е. через две недели после свержения самодержавия. «Знамена!» оказались прелюдией к гениальному Октябрьскому циклу Галактиона, а в переводах Владимира Леоновича эти стихи 1917-18 годов, с предвосхищающими их, примыкающими к ним, порожденными ими и откликнувшимися в будущем, даже через четыре десятилетия, стихами, они образуют своего рода эпицентр душевной бури, круги от которой расходятся по всей лирической стихии Галактиона Табидзе, хоть в какой-то мере представленной в этой книге — небольшой, но «томов премногих тяжелей».

Возвращаясь опять-таки к самим принципам перевода, вновь сошлемся на слова Леоновича о том, что переводы его своего рода «проба пути в самую поэзию Галактиона». Далее же он угадывает и постигает тайное тайных этой поэзии, находит к ней содержательно-музыкальный ключ, без чего были обречены на неудачу усилия многих его предшественников, увы, и вполне многомогущих: «Галактион идет как

бы мимо слов, и даже подстрочник дает об этом понятие. В оригинале, видимо, то совершенство звуковой стихии, когда смысловые дважды два — минимум для бедных, и все совершается над этим... И определяя принцип перевода, основанный на чисто моих возможностях, я бы сказал, что старался переводить поэзию — поэзией, не умея соблюсти точности в пределе отдельных стихотворений, иногда обедняя оригинал одного стихотворения — на благо другому, в котором мы с читателем подвинулись к сердцу этой поэзии — и все это делалось невольно или по капризу, потому что Свобода присутствует даже в таком странном деле, как перевод, потому что Свобода — первая любовь Галактиона».

К этой исповедално откровенной и по самой своей сути творческой программе мы могли бы добавить, что осмысление судьбы Галактиона Владимиром Леоновичем в стихах и прозе, — а он автор целого цикла стихов о Галактионе и, по меньшей мере, шести очерков о нем, включая послесловье к этому сборнику, — ко многому обязывает и нас, соотечественников великого грузинского поэта XX века; эти раздумья будоражат и нашу мысль, сбивая ее с привычной и обжитой колеи и обращая ее к новым граням «образа мысли и образа жизни» Галактиона. И в первую очередь, конечно, этому служат сами переводы Владимира Леоновича, которые подобало бы скорее величать перевоплощениями или преображениями, как и склонен их называть сам поэт.

Георгий Маргвелашвили



Недостижимостью святою
Одною только дорожу —
Отнюдь не жизньнюю пустою,
Где места я не нахожу.

Но кто ты, мой далекий Гений?
Душа тебе обречена,
И между счастья и мучений
Не знает разницы она.

Так полнится живое море
Слезой горчайшею одной —
И тлеет в сумрачном затворе
Весь свет — небесный и земной.

1908

ЦАМЕБА

Играет кудрями ветерок,
Дышит легко прибой.
В море на камне стоит пророк
Мечтательно-голубой.

Покорная труженица-волна
Юноше говорит:
— Пускай гордыня твоя сильна —
Судьба тебя покорит.

А юноша говорит волне:
— Трудись, волна, без конца —
Как ровный огонь в моей глубине —
От пламенника творца.

Правит гений песни моей —
Послушной моей судьбой.
И ты притихла среди камней:
Я — говорю — с тобой.

И юношу спрашивает волна:
— Откуда сила твоя?
— Цапеба — мука моя — дана
Мне. И мука — твоя.

1909

ЛИРОЙ ГАМЛЕТА

Прочь! В монастырь!
Беги, Офелия,
Мирской кровавой светы.
Твоя хранительница — келья.
Моя спасительница — ты.

Твой траур — твой убор венчальный.
Разлукой сочетаюсь я
С тобою, гений мой печальный,
Душеприказчица моя.

Лишь там, на небесах, мы вместе...
Тебе к лицу — святой венец,
А мне — личина — ради чести —
Колпак дурацкий, бубенец.

1911

ВОЛЯ

Рыдайте, избранники божьего гнева,
Невинный Адам, непорочная Ева!

Бегите, бегите родного чертога!
И гневом Его — воспалится дорога!

Остался губитель и прячется в кущи —
Чешуйчатоколючатоскоротекущий...

Кропите дорогу рыданием и плачем
Под гневом неправым, под гневом незрячим.

Здесь камни текучи и дерево шатко...
И все Ему — воля! И месть Ему — сладка.

1911

УТЕШЕНИЕ

Есть утешение пределов светлых
И прошлого отрадная далекость
И в глубине желаний сокровенных —
Забвения торжественная легкость.

Ночные небеса — арена брани,
Там синие распластанные кони...
Приходит Ведающая Заране
Распутать линии моей ладони.

Она услышит тишину — не выстрел, —
Она промолвит, сладостная пери,
Что цвет еще не цвел и плод не вызрел,
Нет прошлого и не страшны потери.

Что было — будет и не перестанет,
Насытит гладных и утешит бедных
И надо лбом толпы как перст восставит
Светильник помыслов моих заветных!

1911

У ОКНА

Седой, словно дух бесконечной дороги,
Сюда из-за тысячи дней
Притащится этот Старик колченогий
И станет у двери моей.

И скрипочку верно приладит и хлипко
Смычком поведет по струне...
Спина эта... Беглая эта улыбка,
До муки знакомая мне...

Споет обо всем невозвратно прошедшем,
Взмахнет лебединым смычком,
И вскрикнет струна, и вздохнет, и прошепчет
О жребии верном моем.

Из сил из последних на светоч вечерний
Ни мертвый бреду ни живой.
Постылые лавры и ржавые тернии
На камень швырну гробовой.

И все это значит, что участью лучшей
Отмечен я был меж людей...
Все так — в этой слезной — летящей — тягучей
Мелодии жизни моей!

1912

ОТСТУПНИК

Он видел: от края до края небес
Лиловая туча плыла и пласталась.
Шел ливень — как шел опрокинутый лес.
Густело. Темнело. Лилось. Разрасталось...

Привычные не узнавая места,
Метался по городу. Вымокло платье...
И замер, случайно увидев с моста,
Как туча летит: будто — навзничь — распяты!

Довольно! Я знаю, что нет божества
И жертвы не надо! Я знаю — сегодня!
Душа сожжена — отлетают слова.
Я пламя! Я пепел во имя господне...

Лицо покраснелось от быстрой ходьбы,
И поднял отступник лицо молодое,
И вот он стоит на виду у судьбы —
Хранимый судьбой — на мосту — над водою...

1914

ТЫ ЖДЕШЬ!

Не жди от меня молений —
Мне жалок любовный бред —
Сил моих нет!

Есть гений Любви
И Смерти гений —
Третьего нет.

Сердце смеется.
Раньше — любило оно.
Не все ли равно?

Правды не остается,
И жизни не остается,
И третьего — не дано.

1914

ОПЛАКАННЫЙ ВЕТРОМ

Листок отлетает, оплаканный ветром,
Пылает октябрь горячо.
Природа грустит о листке не приметном,
О первом — о чем же еще?

Я знал, как они облетать не хотели,
Безумствовал и горевал...
Душа приняла очертанья метели
И хлынула за перевал!

Пустая свобода: нестрашно, небольно
Отныне лететь не дыша.
Свиваются странно — легко и неволью —
Снежинки — с душою душа.

1914

●
Убил в ущелье охотник рыжий
Прекраснорогую ниамери.
И было тихо — а стало тише,
Как смолкло эхо в скалистом соборе.

Назавтра я видел, что день не светел,
А воздух траурен — без метафор —
Там шли за гробом сквозь ливень и ветер
И сумрак скорбный и взрывы литавр!

А я никому не помог на свете,
Не спас я царственную косулю...
На мне тот ливень оставил плети,
И в сердце детском понес я пулю.

1915

●
Упал ребенок — в пыль — на мостовую —
Ударился — отчаянье в глазах.
Как будто душу бросили живую —
На камни бросили, в дорожный прах.

Жара и тишина. Идет мгновенье...
Заволновалась пыльная листва.
Полупрозрачных крыльев дуновенье,
И чистого эфира синева.

Река шумела где-то и когда-то,
И сестры пели... Зрела алыча...
Родной мой ангел! Каждая утрата
Тебя зовет — свежа и горяча.

1915

ТРЕТИЙ — ЭДГАР

Знакомые до сладкой муки
Наш сельский храм, ущелье, бор.
Бьет колокол — ложатся звуки
Блаженные — к стопам Линор.

Идем к вечерне. В отдаленье
Стесненная шумит река.
К тебе, Линор, мои моления:
Ты, близкая, — так далека!

И что же? Словно бы разорван
Весь золотистый небосвод!
И с нами — третий. Это ворон.
Он Эдгаром себя зовет.

Бог знает, по какому праву
Он здесь. Но мы должны молчать.
Все вместе мы идем ко храму,
И темная на всем печать...

1915



От всенощной, молитвы не прервав,
Не утолив волнения печали,
Ты в сад вошла; к тебе цветов и трав
Обращено вечернее молчанье.

Ты молишься: ты небу суждена.
Слова наполнены благоуханьем...
Одно мгновение — окружена
Ты ослепительным была сиянцем.

Твой Демон пролетал невдалеке
И взор остановил на богомольцах...
Ты руки уронила; на щеке
Румянец робкий, и роса на кольцах.

Незримый хор поет: «Она чиста»,
Заводит ветер песнь свою ночную.
Да будет благ изгой и сирота:
Он пощадил избранницу земную.

1915



Он разорвал кольцо поруки
И — гневный — в полночь изо дня —
Шагнул — один — скрестивши руки
И лоб горящий наклоня.

Глухой и буйный, как Бетховен,
Он

проклял
бога —
но

ему

Лишь одному и был подобен,
Когда сквозь ветер шел и тьму.

И

поднимаясь в гору,

долго,

Свой траурный он создал марш,

И бесконечно и полого

Рос под ногами горный кряж.

1915

СТАРЫЙ ДВОРЕЦ

Идет гроза.
Как белый аист,
На озаренной крутизне
Застыл дворец, взлететь решаясь.
В тумане местность — как во сне.

Балкон возвышенно витает,
А там, на мраморе перил,
Атласный ворон процветает,
С которым
Я не говорил.

Несут газеты.
Что — театр
Военных действий? Кровь и дым.
Мир загляделся в узкий кратер —
Как мы порой в себя глядим.

1915

ГДЕ КОНЧАЛАСЬ УЛИЦА

Где эта улица сошла на клин,
Огнем цвела ротонда восковая,
И возносился медный исполин,
Змеиною главою помавая.

Корона-тьень лежала на земле,
Вразлет на мостовой чернела строго.
В неясной, древней, предвечерней мгле
Зеленоватое мерцало око.

Чей голос так тревожит и зовет,
Оплакивая погранную совесть?
Зачем я здесь — и на меня плывет
Зеленоватая косая прорезь?

Туман, гашиш и резкая тоска.
Огней корону мгла опеленала
Затем, что истина твоя близка,
В конце концов, и в глубине пенала!

Ужель — возмездье крови и потерь?
Кого там бьют — а он хохочет пьяно?
Из бездны вылезает вечный Зверь
И требует другого Иоанна.

Ломается улыбка детских губ,
Ломается, как тонкие бокалы.
Кумирня в тупике. Скалистый сруб.
И дым слоится и стоит как скалы.

1915

КТО БЫ ВИДЕЛ

Это не стрела Эроса —
И не надо сердцеведов —
Это смертная дремота
В сердце входит —
Вайме, дедавл!¹

Эти ранние щедроты
Так открыто и раздольно
Входят в сердце — как в ворота —
Тихо-тихо,
Больно-больно.

1915

¹ В а й м е , д е д а в л ! — Ой, мама моя! (груз.).

ПРИМИРЕНИЕ

Играет небо облаками,
Пространство движется рывками —
Клубится — рушится — летит —
На миг единый воплотит

Мятущуюся душу марта,
Не позаботясь сохранить...
Держу я ветряную нить —
Храню гармонию Моцарта

И — гость сияющих вершин
В венце из яхонта и лавра —
Стою блистательно и явно
Среди людей, огней, машин.

Я праздную великий миг —
Я начинаю Книгу Чисел —
Я жизнь воспел и смерть возвысил,
И нет разлада между них!

Итак, прекрасно все. Итак,
Был снег и облака клубились.
А месяц май — прохладный ирис.
Я загляжусь в лиловый мрак...

1915

НАГАЯ

И вечно ты лилась и длилась,
Как наши бранные труды,
И на счастливый остров Милос
Однажды вышла из воды,

Но от волны не отделилась.
Неведающая, нагая...
Очей не смею отвести
От божества, изнемогая,
И линию с линией свести.
Божественное неслиянье,
И вечно, и еще продлись!
Здесь эллины и христиане
Как два ревнивца разошлись...
О несказанное сиянье!

1915

ЗАПОЗДАЛАЯ МЕЧТА

Все прекрасно —
Лишь судьба
На полжизни опоздала.
Одинокая мольба —
Стон Вилье де Лиль-Адана.

Чаши сей
На самом дне —
Непременное спасенье...
Ты взмолился — Сатане
В бешенстве и нетерпенье!

Но
Убийцы лебедей
В сердце нежность погасили.
Оттого сегодня день
Синий — синий — синий — синий.

1915

●
Рассвет за горою — долина во мгле.
Плывет в небесах золотая трирема.
Олень на скале, и пуля в стволе —
Жестокому богу жестокая треба.

Восток пламенеет — чернеет гора,
И замер олень, красотой очарован...
Без выстрела — видно, такая пора —
Охотник задумчиво сходит по тропам.

В тумане долина — как путь до креста,
А свет накопился — мгновенье — и хлынет...
И в жизни спасает меня красота —
И в смерти меня красота не покинет!

1916(?)

●
За полночь над пеной прибоя, над громом и рознью
Мой конь, словно птица усталая, плыл тяжело...
Струна натянулась, и вспыхнули лунные гроздья.
Кромешное море — направо — насквозь — рассвело!

Движенье умрет — и очнется его изваянье,
И праздничный мрамор цветет, словно ветвь алычи...
Является женщина, и голубое сиянье
Исходит из моря, и утро восходит в ночи.

Гремящая галька прибоя — воистину ТЭРРА!
Оглохла скала, как безумец, нажав на курок...
Была колыбель, голубые лучи Люцифера,
Был свет путеводный в начале неизвестных дорог.

1916

К МОЛОДОСТИ

Прозрачные ткани клубя,
Твой ветер летит надо мною.
Зачем вспоминаю тебя —
Еще небывалой, иною?

В морщинах планеты чело,
И сердце в разрывах глубоких —
Всемирных несчастий число,
Надежда слепых и убогих...

На черном и на золотом —
Старинных холстов кракелюры...
Все счета сведу я потом
С красотою литературы.

Зачем вспоминаю тебя —
Еще небывалой, иною?
Прозрачные ткани клубя,
Твой ветер летит надо мною.

1916

ОСЕННЕЕ УТРО

Дождь-листобой.
В ночь — город вылинял —
Стояли золотые дни —
И холод краски мира выровнял,
В нем
Видима душа:
Дохни!

Все голубое — твердо-матово:
То изморозь в голубизне,
А ветер налетел с Мадатова —
Как смерть —
И как любовь —
Извне!

А утро блеклое, нераннее —
Неверны желтизна и синь.
В природе —
Воля умирания.
Во всем — Поэзия.
Аминь!

1916



Красок тихое пыланье.
Шелест. Свежесть. Сушь.
Затаенное дыханье
Дальних зимних стуж.

Пусто. Никого не надо —
Только бы следить
Синюю прозрачность сада...
Шелестеть-ходить.

Царство смерти и потери.
Призрак: ты стоишь...
Осень — твои губы, Мэри.
Шелест. Свежесть. Тишь.

1916

ОМНИБУС

Вдоль деревенского уюта
Бегут-мелькают тополя.
Лиловая опала тута,
И в кляксах пыльная земля.

Руина — вековая ива —
Вся в зелени, хоть и мертва.
Уже отяжелела слива
И наливается айва,

Чернеет, усыхает вишня,
Меж тем как персики в соку,
Меж тем как пассажиры вышли
И направляются к леску.

Риони как зовут? Риони.
Действительно... Перепела
В пустых полях — как на ладони.
Прах золотой Мепис-чала...

И я, отвеяв сотню строчек,
С июлем сладко обнимусь.
Зовет серебряный звоночек,
И поспешает ом-ни-бус.

Скала — источник — Ахалшени —
Назойливый попутный стих —
Ужели этот? — Прегрешенье —
Соблазн великий — малых сих.

Есть тишина в ущербе лета
И сокровенный некий пир...
— Газеты! Свежие газеты!
— Что нового, банальный мир?

1916

ТОСТ ЗА ТЕБЯ

Как этот странный господин
В зеркальной пропасти овал —
Вую в кафе — совсем один —
И наполняю два бокала.

А вещи стали нетверды,
И сонм их плавен и прозрачен.
Пью за тебя. Алаверды!
А скрипка отвечает плачем.

Я жду — и ты заговоришь,
И в мир душа моя вернется.
Но все колеблется — и лишь
Бокал стоит, не шелохнется.

Откликнись, где ты? Никого
В пространстве, лишь тобою полно, —
И это время таково
И отдано блаженным волнам.

1916

ИЗ КАФЕ

В кафе, вчерашнего числа,
Я видел злого человека.
Он глянул смутно — как зола —
А я подумал: вот калека...

Потом на лица и цветы
Смотреть не мог:

всё
было
трудно—

И запил — если бы не ты —
Ей-богу б, запил непробудно!

К воспоминаньям дорогим
Стремился... Нет! Пустые басни!
Стал день жестоким и нагим,
И я склонялся к смертной казни...

А вечер! Эта трескотня —
Стихи... Тоска моя кручина!
Меня сразила мертвечина —
Лишь ты да ночь спасли меня!

1916

ЛАКМЕ

Голос увожу из хора.
Это дерзость? Извините.
Только вся моя опора —
Об одной скрипичной нити.

Извлекаю — как из пира —
Зыбкий звон хрустально-синий —
Из громоздкого клавира —
Только душу героини.

Свет луны и двор бездонный
В духе смутного Карьера.
Желтый сумрак заоконный,
Свечка, очерк интерьера...

Наизнанку и наружу —
Эта комнатка в мансарде.

Отпущу на волю душу
В ветреном Париже,
в марте!

Слышишь, кровь моя глухая,
Я твой враг и хмурый данник...
По двору
проходит
странник,
Озираясь и вздыхая.

Вот к луне лицо приподнял,
Стал. Не говорит ни слова,
В окна смотрит...
Что ты отнял,
Господи,
вот у такого?

И пронзительно и страстно
Льется та же кантилена.
Ночь печальна и прекрасна,
Словно тристии Верлена.

Счастлив я, что причастился
Лиры этой величавой,
И пустой и пестрой славой
Малодушно не смутился.

И в мелодии Верлена,
Вещего отца и мэтра,
Ты, Лакме, жива нетленно.
О Лакме,
дочь мглы и ветра!

●
И снова мне снилось, что солнце угасло —
Едва ли
Я спал —
Это было видение яви горчайшей.
Стемнело,
И звезды смятенно неслись и блуждали,
Бесцельно сгорая —
Нигде —
В черноте величайшей!

1916(?)

●
Тот нежный юноша-мечтатель
Погиб по милости молвы.
Теперь я не страшусь, читатель,
Ни бога, ни греха, увы...

Но я гнушаюсь вкусом крови,
Чем оскорбляю общий лад.
И гибели, как послесловья,
Не я хочу — они хотят.

Всеолимпийским безразличием
К заботам их душа полна.
Но этого нельзя постичь им
Во все века и времена.

1916

ПОВТОРЕНИЕ

Сугроб нарциссов и фиалок,
И гроздь глицинии вслепую
Свисает с почернелых балок,
Где пуля попадала в пулю.

А тополек стоит на страже
Ресниц твоих и занавесок,
И тем острее — идея кражи,
И тем мрачней — крыла черкесок!

И прячут голубые лица
Наемные невестокрады.
А кровь, не вольная пролиться,
Исходит розами ограды.

И льется линия Шираза
Вдоль тополиной вертикали...
Да сохранят тебя от сглаза!
Но сохранят тебя едва ли...

Смоковница укоренилась
В библейском кирпиче железном,
И неизбывна божья милость
На одиноком и болезном.

Первоначальные восторги
Облаву холода подобны,
А Очи Дремлющие зорки
И памятьливы и подробны.

С тем пропадает середина
И дышит эпилог в романе,
И постепенно и едино
Все тонет в ветре и тумане —

Я отвернулся — чтобы в спину...
Удара ждал — как жду любви.
В янтарную мою долину
Ты не спеши — живи, живи...

1916

ПО СЧАСТИЮ ЗВЕЗДНОГО ЧАСА

Над братоубийством витают виденья
Сладчайшего братства до грехопадения
Совпали по счастью звездного часа
И лепет поэта, и лозунги класса.

Зовите — я вас понимаю без слова.
И неизреченностью грозного зова
Я полон.

А слово... А слово — матерья
Лукавая.

Слово — преддверье преддверья —
Великолепный сквозняк анфилады —
От вечной победы до вечной расплаты.

Я — словоотступник — вы это поймете —
Учился безмолвью у птицы в полете,
У скорби — свободе.
У жеста — простору.
А Слово,
которое в меру и впору...

Опять поперек штормового разбега
Подвинется суша пологостью борта,
Над берегом взмоет широкое эхо
И смолкнет — нигде — одиноко и гордо.

И вы говорите: привет разрушенью!
Аминь — говорю.

Череда созиданий
Грядями протяжными облачных зданий
Огромное обозначает движенье.

Я кланяюсь мальчику Аполлону,
Свой обруч катящему по небосклону —
С востока Надежды.

Но смерть на рассвете —
Что это такое?

Ответьте!

1917

ЗНАМЕНА!

Берег багровый, лиловый залив,
В складках тяжелых горные склоны —
Так

пламенеют

знамена.

Алый рассвет нетерпелив.
Взвейте знамена!

Солнце — скорей!
О, пробужденье природы,
Преображение неба,
Жажда гортани,
Жажда корней...
Имя Свободы —
ТАВИСУПЛЕБА.

Алые горные складки.
Помни, как сладки
Вольности первые дни...
Мучеников ее — помяни
Всех поименно.
В полдень — знамена
Траурные наклоны...

Слава борцам дерзновенного стана!
Знаю: в веках
Празднично так — не светало.
В алых полотнищах и лоскутках
Ширь небосклона —
Знамена, знамена!

1917, после февраля

ОБРАЩЕНИЕ К СОЛНЦУ

Солнце июня. Вечные плиты.
Немощный речью,
Я на коленях — очи открыты
Свету навстречу.
Словно подернут беглою тенью
Лик милосердный.
Словно томится чуткое зреньё
Кровью вечерней.
Близится смута — дань роковая —
Рядом же с нею
Имени милого не называю,
Будто не смею.
Только б лучи твои осияли,
Солнце, молю я,
Ту, что навеки — рыцарь Грааля —

Ту, что люблю я.
Знаю, ослепну — ярости правой
Душу открою! —
Ты ж облеку ее ранней зарею,
Тенью полдневной,
Ты обойди ее этой кровавой
Близкой бедою!
Солнце июня. Вечные плиты.
Немощный речью,
Я на коленях — очи открыты
Свету навстречу.

1917

В ТЕНИ МТАЦМИНДЫ

Это с миром прощается окровавленное светило,
Тенью Горы Священной город мой осеня.
Тени цветут — мерещатся мне звериные рыла —
Порождение черного и бесстыдного дня.

Тьма расцветает роскошно — хризантемою траурной.
Поспешите, ценители, любоваться и обонять!
Невозможное зрелище — совесть земли отравленной:
Ни унять — ни насытить — ни убить — ни обнять!

Лето 1917

НЕ ЖАЛУЙСЯ НА ВРЕМЯ

Мужайся, человек. Гляди вперед:
Ты разогнал колеса маховые.
Ты возбудил прогресс — тебя несет
Новорожденная стихия!

Не жалуйся на время — и потерь
Не числи. Адским пламенем и паром
В младенчестве ты обдан. Что ж — поверь,
Что с дьяволом спознался ты недаром.

И все недаром. И утраты — впрок,
И красное и белое каленье —
Чтобы когда-нибудь ты превозмог
Позор и ужас самоистребленья.

1917

МИРОВЫЕ БУРИ,

Что мы именуем так пышно...

А это —

Легчайшие прикосновенья богини:

Гармония тайная мир поверяет.

За все

я спокоен —

и бунту подобно

Спокойствие духа в миру помраченном,

И ясность

людей о себе соблазняет.

Но солнце восходит. И—солнце за солнцем—

Над миром идут чередою свободной,

Не ведая вовсе цепи арестантской,

Того вожделенного звона и блеска...

И ты будь свободен, как шествие это:

С тобой говорила Гармония-дева.

1918

ОФОРТ

Над лесом пустым проходя невысоко,
На эти снега, где живу одиноко,
Всю зиму косилось тяжелое око
Синюшного, сиднем сидящего бога.

Зима, вы глядели, как дремлющий рок.
Окружие леса — прощальный венок,
Повергнутый у алебастровых ног.
На радостях полоз визжит, как щенок.

И — тему повел, как моцартова флейта, —
Красавицу душу спасем от погонь! —
И — вихрь серебристый нескромного шлейфа
Лицо обдает, будто влажный огонь.

Широко летят снеговые разливы,
Что были недвижны и так молчаливы,
И вишеньем белым заиневший куст
Расцвел от дыханья неведомых уст.

Всё сказка и слезы — и только под вечер
Дымы над деревнею — будто бы свечи.
Румянами инея лик твой расцвечен
И тмится, и меркнет — далече, далече...

1918. Царское село

ВИДЕНИЕ ГОРОДА

Шорох обоев — как будто тишайшая
В доме разбитом слышна лития.
Резкая — трепетная — высочайшая —
Над Петроградом — звезда бытия.

Шаг торопливый и тень соглядатая.
Дом полумертвый. С ружьем часовой...
Все это, кажется, видел когда-то я,
Слышал голодный полуночный вой.

Даром ли вызнала голь перекатная
Птичье — такое короткое — «пли»?
Даром ли — помнишь — бутоны гранатные
На гимназических блузках цвели?

В небо взлетает видение Города —
Огнеобъятого — в тучах ночных.
— Стой! Кто идет?— О как знобко и молодо
У парашютов твоих ледяных!

1918

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ПЕТРОГРАДЕ

Метель!
Изменит слово — глаз не выдаст.
К Неве от Исаакьевских колонн,
Колеблясь, шел пирамидальный слон
Сквозь призрачную взвихренность и взвитость.

Затем
Серебряная пальма Heine,
Едва ступив на черный гололед,
Вальсировала — ветви наотлет —
Я позавидовал — кому-то — втайне.

Лиловая клубящаяся мгла,
Муаром отливая и атласом,
Над городом—клянусь вот этим глазом—
Летит, срываясь с древка помела!

Свистит и рвется надвое атлас:
Шпиль? Коготь? Коготический палас?
Ну, вьюга! Все на воле — какво им?
Загнем за угол, постоим, повоем —
Изменит слово — горло не предаст.

Там,
Во главе всего —
Крючок басовый.
Там Ладоги просторные меха,
И дышит города орган суровый
Дыханьем петербургского стиха,
Послушным геометрии Петровой.

Знакомый горький иней на губах.
Простоволосая, о чем ты, ива?
Уже враждуют мертвецы в гробах —
Безмерна грусть твоя и сиротлива.

Как море перехвачено проливами,
Так кольцами бессонниц — эти дни.
О если б мог я плакать с вами, ивами,
Молиться мог:
Спаси и сохрани...

Идущий с миром — явится с мечом.
О скрипка ивы над моим плечом!

Спасите!
Протащите сквозь теснину!
Всегда найдется дюжий костолом.
Куда же я? Сойду с ума и сгину
С моим самодержавным ремеслом.

Меня равнина тянет —
С ветром свиться.

Судьба, я дважды угодил родиться:
Здесь,
В эту ночь,
В ноябрьскую метель —
И там, в раю, за тридевять земель.

Что ж —
На исходе двадцати шести
И я прочел бы моего «Пророка» —
Да некому... О господи, прости
Галактиона — вот еще морока!
Порвал на ленточки: лети, лети!

Я стар, как старый шут.
Мне одиноко.

Наутро шелестел молитвослов.
Горела в Лавре бледная лампада.
Я не забуду звон колоколов,
Как били их об камни Петрограда.

Чхеидзе досточтимый, Церетели,
Вас унесло неведомо куда.
Когда над площадью взошла звезда,
Я спал в снегу:
Тепло, как в колыбели!

Я разорвал последнее кольцо,
Когда топтала пьянь жестянки нищих
С тем вдохновеньем на одно лицо,
С тем оттопыром в рыжих голенищах...

Я к паперти их припечатал:

тавры!

Потом стоял и плакал в первый раз —
За них всех — не ведавших — молясь.
В огне, в слезах раскачивалась Лавра.

...Следил на камне росчерки метели —
Движенье оживало без труда.
Потом запели: горе не беда —
Помолодели и похорошели.

Забуду ли когда?
Я был им — брат,
Мы родились... Мы понимали — волю
С костром и кипятком и хлебом-солью,
С звездой ноябрьской в 27 карат—
Благословеньем нашему застолью.

Расплакался младенец — за него
Перепугался: не помри с натуги...
Однако раздышался, ничего...
Но это в поезде, там, у Калуги.

И думал я: мне больше не распеться...
И были помыслы мои чисты:
Пусть себе обойму в сердце —
Иль продавать
лиловые цветы.

1918

НА ПЛОЩАДИ

Шут на площади,
Где твоя нищая труппа?
Выпал птенец из гнезда — рот разевает —
Белая ниточка тянется — крик одинокий...
Брось балалайку —
Не видишь — колышется площадь под нами?!

Еле ноги уносит пустынный босой — его
Пуля-пчела догоняет —
И так в переулочек загнали.
А вон бежит барабанщик и костью берцовую машет,
И барабан сам собою
Трепещет, трепещет, трепещет.
А вон бежит и визжит — убегает мясник —
Так от него убегал недорезанный боров.
Площадь колышет Алкея.
В его челноке — я.
— О госпожа, госпожа! —
Госпожу догоняет служанка.
— Деньги мои! —
Врассыпную
 всех
 догоняет
 торгаш —

Десятью десять пальцев широко растопырил...
— Кто тут бубнит и чья тут посудина? —
Интересуется некто.
Отвечать ему некогда.
Пусто на площади вмиг.
Выпуклая брусчатка
Блещет теперь янтарями початка.
Я опускаю прозрачное веко,
Чтобы кругом разлилось ханаанское млеко.
Посланы мне
Праздник и бедствие —
Бредни мои наяву.
С красным полотнищем узкое шествие
Движется через Москву.
Были записаны в книгах великих
Соединившие разноречивых
Неслыханные слова:
БЛИЖНИЕ — БРАТЯ — БРАТИШКИ — БРАТВА!

К СВОБОДЕ

Когда ты послала на казнь Робеспьера,
Улыбкой кривой улыбнулась Химера.

Он шел, чтобы кончить то самое дело,
Что в нем завершилось и окаменело.

Туда — сквозь толпу — к эшафоту — к началу, —
Как мастер безумный, как мастер усталый.

И площади всей барабанную шкуру,
Взойдя на помост, оглядел он понуро.

Скопление живого подвижного люда
Опять справедливости жаждало люто

И воли — из рук самого фараона,
То бишь императора Хамелеона.

Превышена, мастер, возмездия мера,
И тянется всласть и зевает Химера

На фризе старинном, где время клубится.
О бедная дева, о самоубийца!

1918

ГОРОД НА ВОДЕ

Лежащий на воде тот город именитый
И пасмурен и тих. Ленивая волна
Дойдет издалека, ударится в граниты
И корабли качнет — и снова тишина.

Вечерний небосвод почитает осторожно
На тусклых куполах, на мачтовой игле.
Дредноут — как скала. Как будто судно брошено.
Угрюмые стволы обращены к земле.

Обманчивый покой. Отчаянная вера,
Что новой стариной не станет новизна.
Незыблемо стоит железная галера —
Идет издалека ленивая волна.

1918 .

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пустыней овёяны камни нагорья.
Спускается Фазис к прохладному морю,
А Мтквари — к другому, и оба течения —
Пустыне возвышенной — вздох облегченья.

Я слышу, как плачет разбитый Мухрани,
И камни Тамар, и мертвый Гелати...
И Картли, молящая о состраданьи,
О славе скорбит — об утрате...

Я помню, в горах над ветшающей Мцхета
С моею душой разговаривал ветер —
Он слышал ибера и хетта,
А времени он не заметил.

Слова, будто пламя, сносимое ветром,
Слетали порывистым метром —
Ущелие Итрии у перевала
Волчицею мне подвывало...

Но дивное солнце, четвертое в хоре,
Широко рассыпало стрелы Эроса
По всей усыпальнице отчей,
И сонная нега Средиземноморья
Туманит грузинские очи —
Я славлю беспечность народа!

Как часто я слышал: мой Джвари старинный,
Где ныне безлюдно и поло,
Звенел на скале, будто арфа Эола
И пел как фарфоровая окарина!

Вечернее теплое море кругом.
То ль облако, то ли большая вершина,
Как рыба, стоит на востоке ночном.
О родина, горы твои не видны,
И в сторону ночи торопится «Даланд» —
Я вижу любимые сны.

1918

ВЫМПЕЛ ПОЭЗИИ

Что мне надо, баловню, на свете?
Просто так я закидываю сети,
Я у рыбки золотой ничего не прошу —
Отпущу на волю,
Сети отрушу.

Что мне сети или хитрые удочки?
Мне довольно и глиняной дудочки,
Чтобы странница Психея
На камне морском
Расцветала голубым цветком.

А другая — лиловая — Сирена:
— Все прекрасно, все блаженно, все бренно...
И в душе моей
Губительные сея семена,
Все мирит и равняет она.

На краю земли и моря и рая
Обитаю — блаженно умираю —
И поэтому, наверно, никогда не умру.
Яхта белая кренится на ветру.

На камнях чернокожих и соленых
Я ведь тоже — лепесток — совсем зеленый!
Только лепет или клекот мне гортань холодит —
Оттого что бьется вымпел
И лепечет — и летит!

1918, Одесса

ДОВИН-ДОВЛИ

Так пером блаженно водит
Ангел третьего завета,
Ибо женщина выходит
На дворцовый лед паркета.

Прочь отброшено введенье
Книги путаной и странной
Ради этого мгновенья
Красоты обетованной!

Дай блаженному грузину
Опрокинуть возле трона
Всю цветочную корзину
Золотого Трианона!

Это грезилось в картинных
Галереях сей столицы,
В глубине зеркал старинных
Собиралось по крупице...

Боже мой, какая мука,
Блажь какая и блаженство —
Изваять — увы — из звука
Вас, о Ваше Совершенство!

Неустанно, неустанно
Возношу хвалы Киприде.
Как версальские фонтаны
Подражают Вам — смотрите!

Довин-довли...
Дева, дева,
Поглядите-ка налево...

Над грядой дубов и пиний,
Над дорожкой райской, синей —
Полуночный ветер горный,
Иссиня-седой и черный —
Конь летит — по коже иней —
Гость незванный, призрак вздорный...

И к чему такая спешность?
О, зажмурьтесь, Ваша Нежность!

Это слезы? Не годится —
И давайте «Довин-довли»
Я спою Вам — я ведь птица —
Не люблю я птицеловли!

Довин-довли, довин-довли!

ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Одну жемчужину дождя
И просветление лазури
Нам оставляют, уходя,
Огонь и мрак грозы и бури.
Нет, не ходи в ученики
К забывчивому просветлению
И временности вопреки
Прильни, поэт,
К иному гению...
И гения в счастливый миг
Не конченное изваянье
То явит совершенный лик —
То пропадает, как в тумане:
Так возникает Петербург —
Видение над топью реет —
И сердце от январских пург
И молодости — леденеет.
Свободой той — искушена
Национальная рутина:
Прозрачны горы — и видна
Вся необъятная равнина.
Я принял черноту небес
И синий снег, цветущий кровью,
И на плечи
наследный крест
Взвалил с надеждой и любовью.

И неминуем и затвержен
Путь восходящий крестный тот.
Вблизи — одноэтажный Нежин.
Там выстрелы: ночной налет.
Огонь — и вьюга — и без крова
Замерзнут погорельцы те.

А тут не легче: катастрофа
От города в полуверсте.
И возникают строфы Данта
Размерные — поверх страстей, —
Пока обшаривает банда
Живых и мертвых вдоль путей.
А ужас — весь — на детском бледном
Лице...

— Нательного креста
Не тронь!
Carthago exegendum!¹—

Тебе слетает на уста.
Опомнился — и сторонится
И пропадает негодяй...
Преображается — и снится.
Останься, время, и пылай
В глазах, отныне озаренных!
Огонь колышется стеной.
На крыльях черных опаленных
Лети, мой ангел, надо мной!

Порядок призрачен — и строг.
Плывут небесные армады
На вечеряющий восток —
Без флагмана и без команды.
И в ясность привести пора
Видения, воспоминанья.
Дредноут — синяя гора —
Воинственные очертанья.
Но я представить не могу
Того, что помню... понимаю...
Челнок истлел на берегу,
И борозда в песке — прямая.
Но как торжественно горят

¹ Carthago exegendum!—Карфаген будет вновь воздвигнут! (лат.).

Небес прогалы долевые
И сумрачных и сизых гряд
Края кудрявые кривые!
Так блещет флотская латунь.
Салют победы! Стоп, флотилья!
Нас обнял берег, как июнь,
Как возвращенная идиллия.

Пустой духан. Попутчик хмурый
Не веселеет от вина,
И очевидно правы Суры,
Что ненависть на всех одна.
На всем разлив ее безбрежен.
— Как холодно, — он молвил вдруг
И поднял взор — и вспыхнул Нежин,
И озарился Петербург.
Ему вина я налил. Бурку
Накинул на плечи. — Мерси
Боку, — он благодарно буркнул,
Продрогнув на святой Руси.
— Вино без крови, дом без крова...
— Мне в Имеретию, а вам?
А он молчит: примерзло слово
К его страдальческим губам.
Однако, верно: дом без кровли,
Совсем пустой — и мы вдвоем.

Лишь филина глухие вопли,
Да небо смотрит ноябрем.
Хозяйка где? Была — пропала.
Кто плачет там? Немой слуга?
Темно и ветрено. Опала
Листва на синие снега.
Какой слуга? Так плачет Демон,
Когда смирится гордый дух.
Душа летит к своим пределам,

Распространяющимся вдруг.
Порою смутною ночью —
Как мальчик в зыбке лубяной —
Рыдает Демон за стеною,
Опомнясь на земле родной...
Похмелья легкая прогорклость
И спутник строг — но ясно мне:
Безвыходная твердь расторглась —
Блажен рыдающий во сне!

Так что же делать? Рифмовать
Послушные воспоминанья?
Единственная благодать —
Освобожденное страданье?
Не это, нет, я величал
Свободою — свободы крестник
И безвременья янычар
И будущего провозвестник!

1919

ТЕМНЕЕТ

Припадает к чаше яда
Демон горечи вечерней.
И во мрак летит аркада —
Своды золота и черни.

Вспыхивают занавески,
Голые ломая сучья.
Резки силуэты — резки.
Воля рока — воля случая, —

Мимо —
В сторону —
И с кручи —
В эти ржавые железки!

Глуховатый стон пандури —
Сквозь каскады фортепьяно.
Пальцы на клавиатуре
Так воздушно перевозданны.

А вишневым мраком старинный
Я оставлю без огласки —
Пусть герои «Лоэнгрин»
Рвут голосовые связки...

Жизнью — всю — обладая,
Разделю ее — со всеми,
В час вечерний покидая
Теплое людское племя.

1919

МОЛИТВЫ РАДИ

Облако
Пролетает,
Будто сорванный парус.
Горный кряж — изваяние
Ветра — и — корабля.
Я заклинаю Хаос: — Цминда арс! Цминда арс!
Цминда арс Хаоси!¹
Вечереет земля.

¹ Цминда арс Хаоси! — Свят, свят, Хаос! (груз.).

Имени твоему
Отзывается строго и слитно.
Розы жертвенные разбросаны — как мерцанье долин.
На вершинах мятежных
Почиет моя молитва.
Я твой гений,
О Хаос:
Я форма.
Я твой властелин.

1919



Луна чиста до белого каленя,
И свет пульсирует как бы висок.
Стоят деревья, преломив колени,
И тени чертят голубой песок.

Сегодня амфоры времен разбиты
И полон призраков дворцовый парк.
Сыны земли скользят, как селениты,
Из голубого света в сизый мрак.

Войска — знамена — тело на лафете...
И пусто. Женщина стоит — одна,
Как бы душа последняя на свете,
И милосердие и тишина.

— О дни мои!.. — Но замирают пени,
И слезы светятся — и созданы
Сердца прекрасные во искупленьи
Непоправимой роковой вины.

1919

ПИРИМЗЕ¹

Ту анфиладу белых зал
Возвысил зодчий и связал,
И взмыла к небесам — единой
Станицей белой лебединой!
На щелбе процветает мох,
И место забывает бог,
И людям вспоминать не надо...
Луна встает — и колоннада
Подъемлется кругом палат,
Где свет, где призраки баллад.
И полон свежести фиалок
Возвышенности катафалк:
Веков понурые волны
По плечи средь молочной мглы...

О свет луны в начале мая!
О нежных призраков Самайа!
Безмолвье — осторожный звук —
Жемчужной тувельки каблук...
Непостижимая утрата:
Былое хороню, как брата,
И память — пытка для меня
До бледного начала дня.
Сухие выжженные склоны.
Обломок розовой колонны.
Разрублен сад на два куска
Родными братьями...

До июня 1919

¹ П и р и м з е — солнцеликая (груз.)

●
Вино туманно-голубое,
Шопена гордая молитва,
Колеблемая над резьбою
Чернофигурного пюпитра.

Пока мнутся
Паганини
Неистовые заклинанья,
Стоят — листа не проронили —
Осинники над Алазанью.

Порыв мятежный и высокий
Рагнине той себя вверяет,
И шелестение осоки
Все страсти умиротворяет.

Отчизна песни не отвергнет,
А слезы непроизносимы.
Как пламя, вспыхивая, меркнет
В ресницах Алазани синей!

1919

ПРОЩАНИЕ

Качнулся экипаж на повороте,
И поклонились яблони в саду.
Осеннее село — и мир в природе.
— Прости, сюда я больше не приду! —
И склон горы в октябрьской позолоте.

И утешенье старого напева,
Где счастья нет и ничего не жаль...
Оборони его, Святая дева!
Такая в мире есть еще печаль —
Полнее счастья, благодатней неба...

1919

НАСТАЕТ ОСЕНЬ

Горит в камине бедный лепет...
Слова оставили меня.
Клубится мрака черный лебедь
Над красным лебедем огня.

Погибли милого бывшего
Несбывшиеся письма.
Любовь — как поле Ватерлоо.
Возмездье. Утро. Тишина.

Взывать к прошедшему напрасно,
А будущего — не хочу.
Кругом — растерзано пространство.
Оглядываюсь и молчу.

Горят безумные посланья —
Огнем их лепет утоли!
Опять — рекой — воспоминанья
Нахлынули — и понесли...

1920

ТБИЛИСИ

Глициния. Лестница витая.
Осыпавшаяся листва,
Чеканная и золотая,
Лежит воздушно — как слова.

Над городом простерта
слабо
Мерцающая пелена,
И ранних сумерек баллада —
Тому причина и вина.

Их бледнорозоваянтарный
Меня тревожит колорит
И больше, чем пожар Верхарна,
Воображенью говорит.

Предгорья — караван печальный.
Бредет обитель Саване
Вослед сутулой Арсенальной
Неведомо куда,
вовне.

Страшись метафор, как навета!
Стояли обе — а потом —
Одни водовороты света
На месте ровном и пустом.

Открылся берег протяженный —
Раскат на северо-восток,
И сумрак сизый, свет тяжелый
На краски города налег.

И ты — единственная милость —
Как я тебя уберегу? —

Мне на мгновение явилась
Седая — в пепле и в снегу.

Разлад, погибель и сиротство...
Не надо!

Боже, ослепи...

Прости...

Дай — видеть

и бороться,

Благослови и укрепи...

Мтацминды остов.

Небосвода

Свет уходящий — и туда

Ведут ступени эшафота,

Как пижут эти господа.

Не поведут их на закланье,

И Час Судьбы они проспят —

Но, взыскан прежде

и заране

Пророчествующий распят!

А непосильный крест разлада

Давно и строго утверждён.

Постой, постой, моя баллада:

Не спит мой город,

верит он...

1920

●
С мечом кровавая Беллона
Стоит на древнем берегу.
По всей земле цветет знамена,
И время согнуто в дугу.
Мы гнали поезда к Тавризу
И воли наглotalись всласть,
И в жертву новому Фазису
Кровь наших братьев пролилась.
Кипят Тбилиси и Батуми,
Мятеж с природой говорит,
И, как высокое раздумье,
Орел над родиной парит.

А в дальнем и глухом приделе
В невозвратимой тишине
Тонул и плыл Светицховели
При бледноогненной луне.
В туман окутанная Мтквари
Идет, влекомая луной,
Между домами и церквами
Широкой призрачной волной —
И с тихим лепетом безумья
Уснувший город залила...
Ночь — ни звезды. Луна-глазунья,
Вода, кресты и купола.

Мы гнали поезда к Тавризу,
Объяты искрами и тьмой,
По вдохновенному капризу,
По зову вечности самой.
Мы вызвали землетрясение,
Раскалывая пласт о пласт, —
И мысль о собственном спасенье
Презренье вызывала в нас.

А свечи гасли и горели,
И, весь сияющий насквозь,
Тонул и плыл Светицховели,
Как бы сиреневая гроздь,
А там отцы мои святые
Без ропота на божий гнев,
Уже по плечи залитые,
Поют, светильники воздев.

А мы убитых отпевали,
Гнев воссылая небесам...

И вторит литургия Джвари
Святым умолкшим голосам.

1920

ЭЛЕГИЯ

Тебе ли, ангел, здесь молиться,
Слетев с небесной высоты,
И траурному платью литься
На горельефы и кресты?

Спасла ли ты Буонарроти?
Прими блаженные слова...
Последняя во всей природе
Святыня теплится едва.

1922

1 сентября, Сигнахи

РОДИНА ЧЕРНОГО ЛЮЦИФЕРА

Дождь или Снег? Нам старости края
Приснятся, будто край утраты отчей:
Дорога жертв — и высочайшая
Звезда над нею в недрах полуночи.

Алмазочерный мреет Люцифер,
И Вифлеема нет еще в помине,
Еще в потемках безначальных вер
Влачится дух... Горит звезда гордыни!

Отчизна Люцифера, ты песком
Затоплена, бескрайним и безмолвным.
Был Назарейнин нам не знаком.
Он шел позднее. Поверху. По волнам...

Беда! И наше дело — сторона...
Как проклятые — меж пустынной солью
Блуждаем мы — и сладостью вина —
И сладью бытия — и крестной болью!

Июль 1922



Был конец октября.
День был строго изваян
Из воздушного янтаря.
Лето теплилось —
Грудой развалин.
Плыло облако —
Словно Версаль,
Падал лист —
Как на сцене сентиментальной,

Где красивая чья-то печаль
Не бывает излишне печальной.

Я бродил,
Нарушая роскошную тишину,
Замирая порою —
Не смея
Разорвать
Паутинки доверчивую струну,
Затаенного звука извлечь не умея.

Там скамья.
Там — она.
Платье темно-лиловое:
Цвет беспокойный, тяжелый.
Золотистые волосы.
Лба белизна.
Вижу, загорсженный:
Перебирает страницы —
Движенья руки
Будто снится,
Будто ветер
Ее поднимает
И укладывает на листки...

Шелли, Шелли!
Где же облако — лучезарный дворец?
УЛЕТЕВШИЕ ДНИ — воистину улетели.
Ты придумал грядущее —
Для утешенья сердец.
Обратимся к земле и к Мюссе:
Пара строчек —
За них я всю книгу, пожалуй, отдам,
Ибо жажду мою утоляет лишь горький источник, —
ВАШЕЙ ЧЕРНОЙ ИЗМЕНЫ
Я НЕ ЖДАЛ, О МАДАМ!

От измены лиловой,
Шелли, Шелли,
Обратился я к небу.
Конец кораблю!
Бьет грядущее —
Бьет грядущее в щели!
Погибаю — люблю!

1922



Появились орхидеи
Совершенно без причины.
Ваши взоры охладели
И меня разгорячили.

Вы глядели
Сквозь вуали,
Будто бы едва зевая,
Призрак Оскара Уайльда —
Неужели? —
Прозревая.

У печали кругосветной
Есть пароль: Монтевидео.
За перчатке ручкой бледной
Я слежу — и это дело.

Так и есть: островитянка,
Муза, дева ледяная,
Лучезарная Критянка —
И перчатка вырезная!

Я и сам покинул Пафос —
Потому и заклинаю
Синеву и сонный Хаос,
Рыбьи сети... Помню, знаю!

1922

ДА БУДЕТ ВЕТЕР!

Да будет ветер —
Тот, который
Взметает траурные шторы
В домах, где больше не живу я!

Гнет линию береговую
Дыханье — долгое, прямое.

Да будет*ночь!
Да будет море!
Да будет небо без просвета
И лодка эта и весло...

Давным-давно
Когда-то, где-то
Со мной уже произошло
Все
Это.

1922

●
Постерся медный грош.
На солнышке щербина.
Судьба моя, судьбина,
За все спасибо... Что ж.

Душа была нежна
У грубости во власти.
Доволен всем — отчасти.
Благодарю — сполна.

За правды медный грош
И золото пустыни,
И призрак благостыни:
Идешь — идешь — идешь...

Колышется в огне
Твой крючковатый профиль.
Спасибо, Мефистофель:
Тебя — не надо — мне...

1925

КОГДА ЛУНА СВЕТИТ ДНЕМ

Клубятся облака — и мысль
Проходит по челу гиганта —
Всею острой тяжестью пришлись
Мы прямо на плечи Атланта.

Как собственный на небе след,
Луна там светится дневная,
Как бы незримо пеленая
К ней тя-ну-щи-й-ся предмет.

И день — белесо-голубой —
Сквозит, как северная Сага.
Потягивает из оврага,
И будет ветер. Листобой.

Свет двойственный и колдовской
Вас очарует и остудит
И будет вечный день-деньской,
А ночи никогда не будет.

1925

РУССКОМУ ПОЭТУ

Мне сцена дивная близка,
Где лебедь угасал российский —
И скорби яркой и грузинской
Не слаще — русская тоска.

Пусть Амирана немоту
Бальмонт-кудесник отворяет.
Ведь Шелли передоверяет
Ему — любимую мечту!

От холода или вина
Мы пьяны были? Там сочтемся
И двое накрепко сойдемся,
Где трезвость — на двоих — одна.

Пространство — встанет на ребро
В моих горах — твое родное...
Калуга... Поле торфяное...
Леса... И небо налегло...

1925



Неба не видели,
Землю заездили,
Предали тайну площадной огласке.
Лишь на мгновенье поверил я бездари —
Быть перестал!
Обескровели краски.

Кто
Посвященного небу и облаку
Галактиона к покорности нудит?
Или —
Свободы не ведая отвеку —
Мне о свободе толкует?
Ну, будет!

Умные люди — пришли на готовое.
Сердца не тратя,
Планете пророчат
Время без гения — тусклое, вдовое...
Завтра умру! —
А планета — как хочет.

1925

ПОЛЯ

Поет мадонна этих гор и дола,
Над полем пролетают журавли,
Серп на руке — обломок ореола —
Слепит, поблескивая издали.

Клик журавлей и голос одинокий
У полустанка в тишине полей...

Уже я различаю стан высокий,
Отчетливее платье и белей.

А этот блеск — до слез уже, до боли!
А солнце в роще — золотой паук...
И никогда не ведала неволи
Ее душа! Прозрачный этот звук...

А что, неведение — залог свободы?
Но я сегодня думать не хочу,
Я слушаю мелодию природы,
Я улыбаюсь острому лучу.

И ранняя вечерняя прохлада —
Такой свободный, ясный вздох земли...
Поет мадонна и топочет стадо,
Как в облаке, в оранжевой пыли.

1925

О БЫТИЕ, ЛИКУЙ И ДЛИСЬ!

И вышла ты из мглы веков
Воздушными стопами —
И всею негой лепестков,
И тонкими шипами
Сердца, как розы, обнялись.
Колеблемое пламя,
О бытие,
Ликуй и длись!

Сиротства нет.
Со мной, с тобой —

Уже в одной куртине —
Шопен — твой ангел голубой,
Мой демон — Паганини.
И сквозь огонь — прекрасна ты
И холодна...
Твои черты
В огне моем — отныне!

1925



Однажды только
В тишине
Произнести имею право:
Мне
Скорбна
Слава.

Я гений безмолвия.
В полдневном шуме бытия
Такая тишина — крамола,
Но в грохоте моря
Слышу я
Молчанье моря.

А эти хлопоты и пир —
Все это слишком повторимо...
Беспмятство Рима,
Безмолвие лир,
Пути пилигрима.

1925

РОЗЫ

О не прогневайся, горькая проза!
Продолжаю первоначальное:
Будет свет и свежие розы:
Красная, белая, чайная.

Вами увенчан праздник Эллады —
Эрос и Флора, музы и грации...
Если бы — я писал диссертации,
А не баллады!

Пир несравненного Анакреона,
Не иссякая, длится:
Лира и лавровая корона,
Розы в петлицах.

Розы кровавые,
Тернии Пинда.
Тернии ржавые
Прими, Мтацминда!

Завтрашнее — пронижется
Обмолвкой позавчерашней.
Молодость милая, дерзкие книжицы,
Череп в цветах улыбается страшный...

Очарования Боттичелли,
Искушения Буонарроти,
Розовораморное свеченье...
Ни диссертаций, а паче — пародий!

1927

ВОЛНУЮТСЯ

В розах голоса обитали.
Только я вышел в сад —
Заволновались, залепетали
Неуловимо в лад:

— Не укроется от Эрота
Даже Первый поэт! —
— О, это вы! Это природа.
Не укроется, нет.

Посвящаю все мои книги —
Первой — только одной...
Поняли и поникли
Тихо передо мной.

Некогда тайных
Я причастился сил:
Я из пальцев хрустальных
Э т о дыханье пил.

1927

МОСТ РИАЛЬТО

Блеснет алмазная подвеска,
Стопа увлажнит камень сизый...
И вспархивает арабеска
Вплоть до зубчатого карниза.

Вот галечник — в стене, вкосую,
Кирпич — наружу корешками...
Смятенный взгляд кругом и все
Перемещается прыжками.

Той — возле — облачной и белой —
Тенеподобные рабыни...
Окрестный свет, живой и целый,
Являет странные глубины.

Стареют грубо и прекрасно
И замок и быки Риальто...
Одухотворено пространство
Затем, что близость нереальна.

Ковры и чаша благовоний,
Покров воздушный и стыдливый,
Жест плавный и неторопливый
И взгляд невинный и невольный.

Едва рука воды коснется,
Как море вздрогнет в отдалении!
Стена тяжелая качнется,
Риальто рухнет на колени...

1927

ЗА ЧТО!

И губы вспыхнули — рубин!
Я проклят нараспев!
А смысла нет — лишь гнев один,
Непостижимый гнев!

Мой бог и тысяча богов!
За что? Узнать нельзя?
Гнев — разрешение оков,
Творящая гроза.

И слова молвить не дает!
Пускай гроза меня убьет —
Пускай мне кара суждена
Такая, как она!

1927

ЧАША ПЛАМЕНИ

Водоросли, колеблемые
Музыкой бездыханной, —
Так движения медленны
У плясунии странной.

В голубоватом ладане —
Призрачная — плыла...
Дайте — вина и пламени
Чашу выпью дотла!

За тебя — за погибшую!
Помни — тебе пою
Песню эту охрипшую,
Славу — и литию!

Пусть над бездною висится
Гений — судьба моя...
За тебя, ненавистница
Сонного бытия...

Складки ветра и пламени
Обрывая, клубя,
На обрыве, на камени
Утверждаю тебя.

1927

●
Шла по лугам, как река винного пламени.
Только приблизился — вмиг мертвой прикинулась! —
Оцепенел — потекла — и обняла меня —
И не пропала, пока сердце не двинулось...

~~Солнце высоко — стою — пламяприемлющий —~~
Взор проникает меня — синее бедствие...
Солнце высоко — стою — пламяприемлющий —
Помнящий праледника грозное шествие.

1927

*Сонная дельта-река —
Золотая и дремлющая*
КОЛЕБЛЕТСЯ АРФА

Исцелится ли сердце?
Бесконечно пространна
Сонного небосвода ленивая арка.
Глуховатого цвета коралла
Розы вянут,
И ветра колеблется арфа.

Содрогаются струны,
А звуки безмолвны.
Потемневшие своды отложе и ниже.
Переходами жизни мучительно полно
Угасание сердца.
Тише, прошлое, тише.

1927

ОН ЗАПЕР ДВЕРЬ

Он запер дверь — и тем замкнул
Пространство внешнее. В мансарде
Не слышен многоустый гул,
Порывистый, как ветры в марте.

Ударил в крышу град — и стих,
Как барабаны наступленья.
Он обратился к розам — к их
Всеведению и цветенью.

Донесся возглас... Дело в том,
Что упоение безбратно.
Он затопил камин. С огнем
Все было ясно и прозрачно:

И мыслей, и предметов круг.
Чекань, огонь, свою чеканку!
Пространство замкнутое — вдруг
Вывернуто наизнанку!

1927

КУКЛА

Куколка в парче —
Волосы льняные,
Губки расписные,
Шрамик на плече.

Кукла, ну-ка спой!
Кукла, хочешь вишенку?
Кукла, видишь нищенку
На грязной мостовой?

Эх ты, кукла! Что ж
Песен не поешь?
Горести не ведаешь?
Сласти не отведаешь?

Говорит: хочу
Снять с души проклятье —
Золотое платье,
Душную парчу.

1927

ЖДУ УРАГАНА

Не верю страшному суду:
Здесь гибель — здесь осанна!
Успокоения не жду —
Жду урагана.

В магическом круговороте,
Круговороте лет и тел —
О, я б хотел
Быть ясным, как Буонарроти!

И я глядел во тьму дорог,
Где юный, бледный скрылся август...
Когда б я мог
Управить хаос!

Погибну сам —
Нет, неужели...
Взлетает к ясным небесам
Корабль Шелли.

1927

ГОРОД ПОД ВОДОЙ

Трещали мачты, паруса рвались,
И НЕТТЕ штормовал в вечернем море
Я вижу — паруса на ТЕ О Д О РЕ —
Борись, бесстрашный!

Слабый, помолись!

Свобода!

Ветер и стихи,

и ключь-я

Пены бурой,

и душа бездонна,

И судно обхватить и уволочь

Хотят медвежьи лапы Посейдона.

Где море? Или небо? Страшный шум!

Багровый Феб на мрачной колеснице

Проносится куда-то наобум,

И с Хаосом пора бы породниться...

Видения и волны громоздить

Мне весело под шторм неугомонный,

Но этот звук...

Отдельный,

затрудненный,

Он тянется, как золотая нить,

В пути слабеет—долог путь кромешный.

Далекий звук — колеблющийся, нежный,

Совсем особенный:

колокола

Из глубины — а глубина светла!

Ну, да, я странствую на ТЕ О Д О РЕ,

Пустыня мне назначена и мгла

И молот в сто пудов: оглохнешь с горя

И ждешь еще...

А глубина светла...

Будь выше бед! Вы помните? Не я ли
Вам дал пароль надежды и борьбы —
И — пусть не поняли — вы напевали,
Как мне — далекий колокол Судьбы.

Я помню утро небывалой глади:
Дыханье затаил, пропал прибой.
В хрустальной синеве,

в обширной пади

Мерцал и был тот город голубой.

Я башни угадал сторожевые,

И стены, и размытые дома,

И вглубь спускались улочки кривые,

Где тучей сизой залегала тьма.

Но тайным изволением и чудом

Там жизнь была...

Размыты все следы,

И кости камнем стали,

но

под спудом

Бездушного забвенья и беды

Хранится жизнь!

О, доставали клады —

Сестерции и драхмы — пусть их, пусть...

Ни золота, ни света мне не надо,

Когда не разделю я

эту грусть.

Я все узнаю у ночного Понта —

Луна восточная едва взойдет.

Мерцанье неба и мерцанье порта.

Никто не помешает, не спасет.

Где оборвутся странствия Улисса?

Не все ль равно? Я знаю, что в раю

Я различу с небес огни Тифлиса.

Как ныне — Диоскурию мою.

По звездам — час.

Хотите — с вашим сверьте, —
Пробившим двадцать пять веков назад.
Пространство времени,
пространство смерти
В такую полночь пронизает взгляд.
И мне, поэту, ангелу печали,
Вы, погребенные во глубине,
Передаете то, что завещали,
Что там навеки залегло на дне.
Я одарен счастливою судьбою,
Как та великодушная среда,
Где жизнь от смерти ленточкой прибоя
Отделена...

Невелика беда.
Соединю, пожалуй, рифмой парной
Тебя, о город предков легендарный, —
С тобой, эпоха грозная моя, —
И разведу — как грани бытия!
Так я восславлю света киловатты
И железобетонную пята
Прогресса...

Погодите...

Дело свято:
Мы разрешаем мертвых немоту.
Еще вы слушаете?

Берегитесь
И не смотрите в море глубоко,
Случайно где-нибудь не оступитесь:
Покажется небожно и легко.
Так было в бурю:

звук уединенный
Позвал меня в такую тишину,

Что вмерз в пучину
НЕТТЕ наклоненный...

Разбил я море —
Возродил волну!

1927

НЯНЯ

Сбились куранты хриплые.
В розовый палисадник
Звуки насилу выплыли —
Семь последних, надсадных.

Утро глядит воскресное
В мутное и растреснутое
Зеркало черноовальное.
Няня листает Евангелие.

Взгляд поднимает блеклый
К дагерротипам блеклым...
Благовест отдаленный,
Бой — с шипеньем и клеткотом.

Зубчатая закладка —
Высохшее алоэ...
Больно, сладко
Шевельнулось былое.

1927

БЕЛЫЕ ВЕТРЫ

Рассвело — и заблестало!
Время белое настало.
Горы и село —
Все белым-бело.

Будут ветры белые,
Сумерки сиреневые,
Будут сказки первые
И стихотворения.

Берег крут, вода черна,
И Зима — на кромке.
Осень, Лето и Весна —
Три сестры-сиротки.

В очаге полено тлеет,
Вяжутся слова,
Клонится и тяжелеет
Бабушкина голова.

Быль не больше, чем изнанка
Сказки золотой...
Как заладил спозаранку
Влажный и густой...

На родимое крыльцо,
На худое деревцо,
И румянец деревенский
Лег на белое лицо.

1927

ТЫ ОПЯТЬ ГОРИШЬ ВОСТОРГОМ

Забудем старые печали,
Поднимем храмы из руин,
Восторга полными очами
Увидим свет — как при начале, —
Но горизонт перекроим.

Иные горы вовсе скрыты,
И с небом ты накоротке,
Душа летает налегке,
Не зная горя и обиды,
И нежные эфемериды,
Мечтатель, у тебя в сачке!

Тебе подвластно все на свете
И недоступной нет мечты,
Но плакать так, как плачут дети,
Захочешь — и не сможешь ты.

1927

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

Высоко лежит и полого,
Тихо клонится даль ко сну:
Пламенеющая дорога
Рассекает голубизну.
И последней стрелюю пламени
Мгла кофейни просквожена...
Эта пауза в памяти,
Незнакомая тишина...
Из-за давности эпизодов —
Звон в ушах и судьбы наплыв.

В расписании пароходов,
Соответственно, перерыв.
Слабо дрогнули где-то около
И застыли колокола...

— Гул, толпа — одиночества облако,
Прибывающих — без числа.
С полотна Веронезе, право,
Незнакомка сошла на пирс.
Тихо стало у трапа,
Где мелькали и торопились.
И — угадывая мгновенье —
Подошла сама, назвалась.
Помню пальцев прикосновенье.
Я сказал: — Вот розы для Вас.
Время было вечернее,
И Батум — как сейчас —
То — заоблачное — свечение —
Лебединый полет — Кавказ.

Мы сходились легко и быстро,
Невзирая на разную:
Дэнди — я и она — курсистка,
Очарованная толпой.
Нет, не облако одиночества
Веронику влекло, увы —
То, врожденное отрочество...
Никэ — статуя без головы...
Я смеялся: — Вэра да вэра¹,
Никэ! —

Полнились колокола,
Зачиналась другая эра,
И граница повсюду шла.
Мы расстались: она в печали,

¹ Вэра да вэра — нет и нет, невозможно (груз).

Я шутил, как велит мой клан.
Те же розы на том же причале.
Социалистка — батумский Глан...
Ах, мы шутили,
Мы все шутили
Между картами и вином —
Как на судне при полном штиле,
Как на шлюпке — вверх дном...
Не печальтесь, играйте
Жизнью, смертью и всем...

Восемнадцатый год в Петрограде —
Это лет через семь.
Обращаются в прах иллюзии
И, позвольте сказать, в помет.
Вдруг слова:

— Нет прекрасней Грузии!
И никто меня не поймет! —
Две подружки в военном, кожаном,
Вероника — спиной ко мне.
Я в жару — в кафе промороженном —
Голова у меня в огне.
— Там сейчас расцвели мимозы,
Там живет один человек...
Розы мне подарил — и розы
Оказались — навек.
Хоть на крыльях туда бы рада!
Там бы надо установить
Диктатуру пролетариата
И бандитов переловить.
Сволочь белую к стенке...

Белый

За спиной у нее сидит —
Васкалетский — окоченелый —
И, оказывается, бандит.
— Если что... Подруга, запомни:

Дуб над пропастью, там гора...
— Хватит, Верка! — Нет-нет, исполни
Все до точки. — Айда, пора...

И на улице не узнала —
Долго вглядывалась сквозь снег:
На другом берегу канала
Подозрительный человек....
Как узнать — если всех дороже,
Если в жизни твоей — один?
Извините... Да это что же...
Не бывало... Разбередил...
Мы — шутили, мы век шутили
Между картами и вином —
Как на судне при полном штиле,
Как на шляпке — вверх дном.
Одиночество на чужбине...
Вы не пробовали замерзать?
Неизведанное доныне
Наслаждение, так сказать.
Превосходно! По этому поводу —
Парадоксов кладезь — мороз!
Это дух мой бродит по городу
Или сам я — в поисках роз?
Чтоб согреться, надо раздеться,
Уверяю вас... Тут пальба...
Здесь прошла — мимо сердца —
Пуля-дура — как и судьба.
Крикнул, падая: — Вероника! —
Небо — стены — ее лицо
Надо мною тогда возникло —
Слава богу... В конце концов...
Умер я — совершенно счастлив...

Петроградская сторона,
Воскресения день ненастлив.

Где — она?
Неужели — горячка, грезы?
Кто стрелял? Хорошо бы — ты...
На стекле голубые розы,
Фосфорические цветы.
Или — Верка та — револьверка
Уложила — и все дела —
Полубелого, недоверка —
И метель его замела —
Хоть не ведала, хоть случайно...
Но —

 была ли та благодать?
Или не было?

 Чрезвычайно
Мне хотелось тогда узнать.
Небеса непроглядно серы...
Но — лицо... О Господи, нет,
Ничего, кроме чистой веры,
Не прошу на остаток лет!

Мы шутили — и нашутили —
Чистой кровью, а не вином...
Нет, конечно!

 Ее убили —
В тот же миг, я уверен в том!
А быть может, тогда, в отчаянии,
Что наделала — и сама...
Эти годы необычайны,
И особенно — та зима.

1928

ГНЕВА И ЯЗВ НЕ ТАИ ОТ НАРОДА

Свежие гвозди — а не загвоздки!
Будут ладони к брусу пришиты,
Ибо не убраны эти подмости,
Чернь не сыта, и Голгофа не скрыта.

Гнева и язв не таи от народа.
Мы, слава богу, больше не дети.
Истина есть музыкальная кода:
Мне тридцать семь. Тридцать — столетью.

Перед народом — ты — перед другом
И тишиною исповедальной.
Так не гремите ж, нищие духом,
Мелким железом и наковальней!

1928

ЭТА СТАРАЯ МУЗА

Отталкивающая мозаика
Отполированных камней —
Всегда настороже и замертво
И льда живого холодней.

Я говорю созданью дивному:
Разлита смерть в тебе — зачем?
Нетерпеливому, наивному,
Ответ мне следует: затем.

Как мысль холодная и тщетная,
Лежит разомкнутым кольцом
Богиня доветхозаветная —
Змея с обманчивым лицом.

Затем, затем! И делать нечего.
Покорствуй, раб, своей судьбе.
Мгновенье судит опрометчиво
О вечности и о себе.

Но темного, непосвященного,
Оставь, оставь меня, змея —
Для заблужденья освященного —
Ты рада? — за-блуж-де-ни-я!

Не за спасение стоящего
И грезящего на краю —
Твой яд — веселья ради вящего —
За здоровье погибших — пью!

1934

НЕ ПОЙМУ

Горе в сердце вошло —
С гордых губ не слетит никогда.
Принимающий зло —
Ненавидеть не может. Беда!

Безоружен стою,
Мерзнет кровь и немеет язык.
На долину мою
День за днем наползает ледник.

Сердце бедное — в нем
Все вверх дном, как в разбитом дому.
— Что с тобой? Не пойдем.
— Не поймете — я сам не пойму.

18 января 1935

МАМЕ

Свежая ночь от вершин отлегла —
Что это, мама?
Лес незнакомый, дорога и мгла,
Клубы тумана.

Та ли дорога — с грязью, с песком,
С мерзнущим следом,
Где я однажды прошел босиком —
Землю изведаль?

Что это? Дерево стонет во сне,
Молнией разбитое?
Сердце печалится обо мне
Чье-то забытое?

Что это? Прошлое стонет ли так?
Смерть ли тоскует?
Это собака дичает в горах,
Совесть взыскует...

Мягко ступают подковы коня
Ночью туманной.
Одолевает вовсе меня
Слух окаянный.

1935

ОЗЕРО В ГОРАХ

Голубые травы и цветы
Родились и выросли высоко.
Кладезь синева и черноты —
Озеро — мерцающее око

Каменистой серой высоты.
Опрокинутые мачты пихт,
Яркий луг и сумрачный кустарник,
Россыпь мхов — рубиново-янтарных,
Малахитовых и всех иных —
Россыпь откровений ювелирных —
Озера оправа и оклад...

Явь и холод областей надмирных —
Память молодости — вещей хлад...

Просыпающиеся тюльпаны,
Плачущий—хрустальный—теплый снег
И с ружьем сутулый человек,
Уходящий гиблыми тропами...

Что — моя охота? Сны и сны.
Птичий взор — рассеянный и точный.
Рыцарственный профиль крутизны.
Блеск дневной и ветер полуночный!
Эта всячина и пестрота,
Этих волн раскаты — плоскогорье!
Это черноглубое море —
Опрокинутое —
Высота!

1935

●

Веди же, Миндиа, вперед —
Не дрогнут львиные колена! —
Так пели вы, но постепенно
Запели вы наоборот.

Возвысился простой народ,
Поскольку справедливо чудо —
Вы — скатываетесь покуда
Со всех божественных высот.

А эстетическая часть
И вовсе уж грустна в итоге:
Покинуть царские чертоги,
Чтобы в лакейскую попасть.

И пресмыкаясь от души,
Сбивая львиные колени,
Уж вы дождетесь откровений
От лизоблюда и ханжи!

Любоначалие — как страсть —
Томит и гонит вас жестоко...
Прочь отойди. Стань одиноко.
Ты сам себе указ и власть.

1935

К РОДИНЕ

Родина! День наступает и близится.
Родина, сердце мое оживи.
Видишь — любовь моя светится — высится
В утреннем зареве — храм на крови.

Дорого нам достается наука
Чувства, живого с младенческих дней...
Но постигаешь значение звука,
Верно ступая за песней своей.

Не удержу, опущу, перепутаю —
Что — на мгновение только — пойму.
Раны твои я туманом окутаю,
Жесткую землю твою обниму.

Только не ведаю, завтра какие
Песни — колосья мои золотые —
С шелестом тяжким приду уронить —
Или молчанье — как память — хранить.

1938

НАДПИСЬ НА КНИГЕ «МАНОН ЛЕСКО»

И я окружен глубиной безначальной,
Где сон проступает сквозь сон —
Как повесть иная — сквозь этот печальный
Роман де Грие и Манон.

Столетия летят! На обложке шедевра
Как будто его эпилог —
Виденья и ритмы Парижа и Эвра.
Затянутый узел дорог.

Фиалки, наемные головорезы,
Дуэль, вероломство, тюрьма...
И рушится вся богословская теза,
И логика сходит с ума.

А бедствий причина — ясна и невинна!
И праведен тот, кто влюблен.
О бедный закон! О печальный старинный
Роман де Грие и Манон...

Фигаро

Осенняя стужа, бездомные в роще,
И час их неверен и скор,
И страшно маячит им Гревская площадь —
Толпа и позорный костер.

Но петли уловов и тропы запрета
Уже разрешила, прошла —
Как луч отлетевший — мгновенная эта,
Певучая эта стрела...

Утрата — и ужас. И ропот на бога.
И старый аббат поражен —
И рвется — и длится — темно, одиноко —
Роман де Грие и Манон.

1939

КАК ЛИСТЬЯ С ДЕРЕВА

Листва опадает, становятся годы землею,
И память устала ходить по безвестной дороге.
Но ты поклялась — и во сне говорила со мною —
Туманно и близко стояла на этом пороге.

Не высохнут лучшие слезы, запомни: мы были —
Мы умерли вместе... Но небо не станет землею —
И вера пребудет — а сердце не вынесет боли...
— Не вынесет — я повторяю вослед за тобою.

Приходишь все реже — и я не узнаю подножья,
Куда принести поминальные розы и лилии —
И замкнуты губы мои, оскверненные ложью.
Печальная правда, блаженная память: мы были!

1940

С Поезда

Полустанок крохотный.
Румяный свет на склонах.
Почту сгружают. У насыпи —
Мальчик, щенок, теленок.

У горы деревня
За пазухой уютной.
Распевает голосок
В тишине минутной.

Девочка поет
И в ладоши бьет, бьет,
И прыгает, и тувельки
Так малы и тупеньки!

Сумерки румяные,
Осень полноплодная.
Здесь останется как раз
Душа моя свободная.

И покой и родина —
Не вспомню ни о ком —
И в деревню — с мальчиком,
Теленком и щенком.

1940

ПОЙДЕМ СО МНОЮ

Хрустальным утром, рано, налегке
Пойдем со мною в сторону Бетани,
Чтоб на родном и звучном языке
По всей дороге птицы щебетали.

Там лепится Ираклия гнездо
И думу думает Орбелиани —
И нам ее достанет — лет на сто.
Пойдем со мною в сторону Бетани!

Там постарели липы и дубы,
И стебли розовые буйно вьются.
О друг мой, остановимся, дабы
На время прожитое оглянуться.

Тбилиси дышит где-то за горой.
Высматривает место обитанья
Душа моя... Хрустальною порой
Пойдем со мною в сторону Бетани!

1940

ИСКЛЮЧЕНИЕ

Сердца падающие удары
Будто реже и тяжелей.
Опустелые парки, бульвары,
Лунный сумрак в пролетах аллей.

И родною и призрачной былью
Ты являешься из-за кулис.
Будто сонные белые крылья —
Руки всплыли, переплелись —

Опадают в немой укоризне.
Светом пепельным вся залита —
Ты исполнена трепетной жизни
И тоске никакой не чета!

Ах, Сен-Санс, безотчетная юность
Тем прекрасней стократ — и она
Этот свет, эту горькую лунность
Не поймет и понять не должна.

И благое неведение танца
Так неведению слова сродни!
Я стихи понимать не пытался —
И меня не убили они...

Протанцует и рученьки сложит, —
Счастья слезы заставит пролить, —
Но не сможет, вовеки не сможет
Смертной муки моей разделить.

И моя суеверная робость
Подает мне решительный знак,
Что и мне эту узкую пропасть
Перейти невозможно никак.

Наша юность — железная скудость.
Наша радость пошла с молотка,
И расплата за позднюю мудрость
Нескончаема и велика.

Где же радость? Убийца! Разиня!
Или нет? Я ошибся? Я прав?
Выбегает... Ах, солнышко, Мзия! —
Ножкой розовую смерть поправ.

1940

ГРУЗИНСКИЙ ОРНАМЕНТ

Стрелы языческих солнечных гимнов
И колыбельная нежная вязь —
Звуки, однажды, родясь и погибнув,
В камне воскресли, навек отзовясь.

Если скала сорвалась и упала,
Грохот обвала безмолвствует в ней.
Эхо Эллады — обломок тимпана.
Гул Вавилона... Ветер Пиреней...

Тяжко-прямые рельефы Египта,
Индии сладостные вензеля
Соединила певуче и гибко
В чистом орнаменте наша земля.

Туфы Болниси, туманны и сини,
Давних небес берегут колорит.
О позабытой отчизне — доньне
Желтый песчаник душе говорит.

Камень — поэма, и врезана в гнейсы
Линией пламенной наша душа.
О современник, ожгись — обогрейся —
Слушай—гляди—замерев—не дыша...

Камушек серый в карман гимнастерки
Перед атакою спрятал боец —
Малую крепость, где строгий и зоркий
Древнегрузинский прошелся резец.

1941

И поблекла и позолотела,
А подмерзла — вовсю расцвела...
Тропку — ласточка — перелетела
И над бездной слепила крыла.

Высоты переполненный кубок,
Золотое руно октября.
Величавый обломок — обрубок —
Клен пылает — и пышет заря.

А кора у него камениста,
А листва у него молода
И прорезана нежно и чисто,
И пронзают ее холода.

Будто эти корявые ветви,
У развилки — тропа и тропа.
На зарю оглянись и помедли —
Как заря, как деревьев толпа.

Здесь преданья витают поныне
Над обрушенным утлым жильем,
Здесь бесплодные молят рабыни —
Две рабыни — о чреве своем.

Шум невидимого водостока:
Там речонка в бетоне узды.
Солнце выглянет с юго-востока —
Из-за той вон кудрявой гряды.

...Смотрит клен на террасы Самадло,
На угрюмый зубец Кер-Оглы.
Не согнуло его — хоть сломало,
Навязало на память узлы.

Будет полдень достоин преданий:
Небольшое усилие ума —
И рванется дорога к Бетани —
Как дыханье, как выстрел — прямо!

Где красуется клен-перестарок —
С легкой ласточкиной крутизны —
Через весь крючковатый кустарник —
Так — летающие — спасены!

А по тропам сходя кропотливо,
Можно храма совсем не найти...
Бей, охотник, бездельник счастливый!
Лас-точ-ка, замирая, лети!

1944

●
Надежду с тобою делю,
О пальма — и призрачно-перист
Сухой твой железистый шелест.
О чем ты? О мире молю,

Неистовая синева —
Сквозь ветви — сухие ресницы.
Прозрачен и виден едва,
Полуденный город теснится.

Как пламя, колеблется порт.
За город — сквозь горы и горы
Мой взгляд беспредельно простерт,
Лишенный последней опоры.

Ослеп? Поделом, поделом!
Роскошная меркнет Ривьера,
Вдаль хлынула — вширь — напролом —
Пространства свободная сфера!

Что — горы, когда не крепки
И холмики те, и могилы?
Прозревшие старики,
На что вам — подобные силы?

Но через полдневную ярь —
Волос твоих черный янтарь,
Молящие, бледные руки —
Ко мне — через годы и муки...

И гасит небесный огонь
Моя ледяная ладонь.
Исчезла — манила рукою...
О пальма, о древо покоя!

Осень 1953. Сухуми

●
Тень каштана скользит по стеклу.
Там за нею — за дальнею далью —
Посетителя тень в зазеркалье —
Та же, в том же глубоком углу.

Это утро. Пустое кафе.
Я, входящий в чудесном смятении.
Это Пушкин!.. И ступицы-тени:
Экатомба и ауто-да-фе.

Пистолет иль костер? Все равно.
Черный остов — иль малая ранка...
Для избранных это го ранга
Честь жены, честь эпохи — одно.

Где по мраморному алтарю
Жилка мерзлая — Черная речка, —
Там тебе — только нож да овечка.
Слышишь, чернь, это я говорю.

Я тебе говорю, воронье:
Весть о жертве, о жесте высоком
Ты встречаешь желудочным соком —
Ты всегда получаешь свое.

1956

ВЕСНА МОЯ

Зима великая стояла
И море с берегом спаяла.
Шесть месяцев сожрал январь —
Такого не бывало встарь.

То оглушительно и пылко
Гремела, как камнедробилка,
То затихала сразу вся,
Сугробы синие кося.

Снегам я верил и не верил,
Но глубину прилежно мерил,
И не оказывала дна
Порою эта глубина.

Что там таилось и мерцало?
Я все сказал... О, шен, мерцало¹,
Судьбы огромной на краю
В ладонь замерзшую мою
Ты бездыханная упала.
Весна! Я жив — я слезы лью...
Весна моя, подольше царствуй,
Храни меня и благодарствуй,
И где сойдутся две зари,
Мне двери тихо раствори.

12. IV. 1956

¹ О ты, ласточка (груз.).

ОДА ВОЛЬНОСТИ

(ПОСЛЕСЛОВИЕ)

Вот любимые мои стихи: Пушкин, ПТИЧКА.

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

Здесь мое призвание и мои беды, способ жить и соединять слова. Не по нужде, а по воле все это я перевел — и напутствую стихи — пишу статью — вашего дыхания ради. Дыхание, кстати, утраченный синоним языка. С грузинского дыхания — на русское...

А воля просит антитезы, чтоб не стать произволом, и я скажу о доверии. Посмертное доверие Галактиона Табидзе — ибо прежде всего с ним я выясняю все вопросы, — обязало меня, как не обязала бы сама необходимость. Я редко ей кланяюсь.

Я бродил, нарушая роскошную тишину,

Замирая порою, не смея

Разорвать паутинки доверчивую струну,

Затаенного звука извлечь не умея.

И в осеннем лесу, где солнце сквозит и вспыхивает каждая паутинка — вдрут — эта бетонная стена очередной необхо-

дымости... В девяти случаях из десяти ее надо разрушать — а солнечную струнку оставить как есть. И пока человек разрушает безобразное и неуместное, струнка начинает звучать — сама.

Душеприказчику или переводчику трудна посмертная воля поэта, такого, тем более, который перевел на язык единственного жеста — собрание своих сочинений. Он весь — движение. Воскресни он сию минуту — я не знаю, что бы он сказал о написанном. Лишь посредственность, бронзовеющая при жизни, держится за собственные азы. Гений отрекается от меньшего ради большего, но большего люди знать не могут и потому думают, что зря горят рукописи, и проч. и проч.

Зачем стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь! —

это написано сразу же после ПТИЧКИ — будто в обмороке. Что же вынести из соседства этих стихов? По крайней мере, крутизну смысла. Взбешенный почтовой цензурой, Пушкин пишет, что без личной свободы жить невыносимо — а без общественной очень даже можно. Мне видится здесь положительная стратегия: соиздание свободы **изнутри** — в надежде на достойную внешнюю форму — **изнутри же естественную**. Впрочем, это я пишу, думая и о музыкальной энергии стихов Галактиона и русской форме ее выражения. 12 томов поэта — музыкальная летопись полувека: 1908 — 1958. На сегодняшний день оглушительная оратория почти беззвучна, а едва слышный когда-то экспромт абсолютного внятен. Внятны паузы — и полны смыслом. Проясняются стихи, совершенно «темные» когда-то. Да, он сказал больше, чем хотел, и был правдивее, чем мог быть. Изначально верен был звук, мелодия была непогрешима. Значит, он сказал все и перед нами энциклопедия. Внешняя риторика ветшает. Торжествует то, что Блок именовал общественной совестью.

В ранние годы бездна дохнула ему в лицо — страшной свежестью своей. Ранние стихи о старости и смерти вызывают отнюдь не улыбку — но удивление той ясностью, которую несет обратная перспектива: внизу вблизи долина туманна и далека — над нею ровень твоим глазам так подробно отдаленные черно-белые скалы! А самая вершина владеет пространством — скрадывает или освобождает его по своему усмотрению. Горы учат смотреть на вещи таким обра-

зом, что лучшие обеты господствуют надо всем. Присяга им легка и естественна.

**Его душа, как лебедь яркий,
Принадлежала небесам.**

Перед миром Галактиона возвышается некоторый порог великодушия, не одолев которого ничего нельзя понять в этом мире. Да, вскарабкаться или взлететь — кому надо, — чтобы вместе с поэтом спокойно подумать о вещах значительных. В далекое — узнать близкое, а в обыденном — фантастическое. В художественных парадоксах — нашу реальность... Здесь, собственно, уже растворена поэтика вольного перевода — освоение пространства и времени. Модильяни рисовал отца — нарисовал сына. И совсем не потому, почему грибоедовский герой шел в комнату — попал в другую. Да, оригинал связно продолжается в переводе, это естественно. Не все связи видны, а некоторые рвутся — столь же естественно. Жизнь — и жизнь. Вот что перед нами. И когда они «неузнаваемы», они не виноваты. Виновата леньность воображения и успокоительная привычка к внешнему сходству вещей...

**Художник писал свою дочь — но она,
Как лунная ночь, уплыла с полотна.**

Всегда приятно разбудить воображение...

~~Несколько вещей в этой книге способствуют этому: ДО-
ВИН ДОВЛИ, НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ПЕТРОГРАДЕ и др.~~

Ода — жанр вместилистый, и мне не обойтись без того, что как-то заменит биографический очерк. Прилежный гимназист Галактион Табидзе много читал, когда жил в Кутаиси у благочинного — деканоза Нестора Кубанейшвили. Духовная культура древней Грузии была воспринята им со всей отроческой — чрезмерной — полнотой чувств. Отсюда — ранняя «бетховенская» ересь — и мир — и драма, столь отчетливые в его творчестве. Да, это был читатель! Но неуследимый звездный путь его чтения мне хочется обозначить непогими именами. И пора сознаться в корыстной «жесткой» концепции моего Галактиона. (В этом, правда, может сознаться каждый ревнивый читатель.) В жесткой, да. Без ребер жестокости не переместить поэта на почву другой культуры. Поэт мой несколько бледен и тощ, но что делать? Крив был Гнедич поэт..

Итак, имена. Шелли. Его гений прекрасно должен был отвечать побеждающей светлой природе Галактиона. Если время Шекспира когда-нибудь пройдет — начнется время

Шелли. Но первая книга Галактиона — байроническая осанкой своей. (~~Шелли свободен от какой бы то ни было поэмы~~). Поэт беседует с Ночью — и собеседники равны. Враждует с Богом — и оба довольны. (Примерно тем же и в то же время поглощен В. Маяковский, ровесник и земляк Галактиона). А ничтожество людское вызывает в нем байронизм, как сказал бы Тьянов, укусный, перебродивший в Бодлере и Теофиле Готье. Второе после Шелли имя — Верлен, второй его неуследимый спутник. Его влияние — самое счастливое: одна подлинность и неповторимая музыкальность — вызывает другую.

Руставели, Акакий¹. А почвой была вечная боль мыслящего грузина — то самое или та самая **цамеба**, без которой нет Галактиона Табидзе. В этом слове слиты мученичество и вера, означающие духовную победу. Так читается это слово уже 1500 лет — и тем роднится глубоко с главным нервом русской литературы, литературы сострадания. Но кроме **цамеба**, в первой книге — и дерзкое тщеславие, и уязвленное сердце миджнура, и крестьянский здравый смысл, и душевное здоровье — на сто лет жизни. Муза молодого, **черно-синего**, Галактиона подвержена всем человеческим страстям, ибо она душа, а не кукла.

1915 год, стихи о войне: атласный ворон, процветающий на мраморной балюстраде. Кумирня в уличном тупике, и медный змей в коллесе света.

Зрелище Петрограда — восемнадцатый год. Фантастические образы, возникшие будто под орлиным пером Иоанна — и в душе мятежного Гете, восходящего на Брокен. Вся память Галактиона всколыхнулась — но не память пишет в такие часы... А музыкальная доминанта — гул вбиваемых в землю колоколов — и осколочные брызги — и плачевный звон меди... **Когда погребают эпоху** — брезжит строка Ахматовой. Но не все этим сказано, и сказано позже на двадцать лет. А здесь — битва самих колоколов, здесь мертвецы враждуют в гробах — глубока рознь. Нарушились исконные, органические связи косого камня и гибкой воды — Хаос вышел на волю — не одна только нежить немецких романтиков. Но здесь Петербург — **каменная сетка**, в которую попадает любая метель. **Дух неволи, стройный вид** — люб-нелюб, а пребудет — это видно — и это слышно, как слышна тягучая гамма органа. Куда деться?

¹ Акакий Церетели.

И Галактион — сам — вбивает маршевый ритм в бушующую волю. Рассекает стихи проспектами и линиями. Замораживает лик Свободы — приостановить прекрасные черты... Отворачивается, глохнет, слепнет — чтоб не видеть родовых схваток...

**И возникают строфы Данта —
Размерные — поверх страстей, —**

Пока обшаривает банда

Живых и мертвых вдоль путей.

А ужас — весь — на детском бледном

Лице...

— Нательного креста

Не троны!

Carthago exegendum!

Тебе слетает на уста.

Да будет воздвигнут — но почему Карфаген? Так спрашивал Блок: почему опять Иисус? Другой должен быть — а с этого хватит — и с нас тоже.

На Хаос Российский нашлась грузинская нежность. На ней, трепетной, напечатлелся он — дивный подлинник.

Наш Боратынский умер, разволновавшись нездоровьем жены — «от воображенья», как свидетельствовал врач-итальянец. Тютчев ходил как бы живой, то есть совершенно мертвый, похоронив Денисьеву. Расставшись с Ольгой, Галактион писал свои тристихи. Свои оды и оратории... Так писал испепеленный Маяковский: **Мы — эдисоны невиданных взлетов, энергии и светов...** Так славил Твардовский страну Муравию.

Такого рода оптимизм даром не дается. Художник оплачивает его загодя — либо расплачивается потом. 1935 год, Париж, такой знакомый. Язык, на котором Верлен писал свои романы без слов. Его глухая литургия. И — на коленях — гордыня его. И богема... Здесь, на Конгрессе антифашистов, Галактиона увидел Пастернак — впервые.

— Так вот кто гений! — вырвалось у Бориса Леонидовича, который Верлена переводит, а Галактиона нет, Тициана переводит — а его двоюродного брата словно оставляет на завтра. И так и оставит, и не знает никто из них, что в Час мужества именно Галактион защитит доброе имя русского поэта. Они родились друг для друга — и разойдутся сейчас. **Шопена траурная фраза...**

Да это чистый Галактион! А это — не Пастернак ли: Стих стремителен, как раненый барс?

Слишком близкие люди не сошлись — может быть, по причине близости.

Эти годы несут Галактиону свежие лавры и ржавые тернии Народного поэта. Свершается судьба Паоло и Тициана. Цамеба.

Не надо прислушиваться к словам именно той давности. Эпоха стоит сплошная, и стоит перечитать стихи Галактиона конца десятых и конца двадцатых лет, и первых послевоенных, и самых последних в его жизни, чтобы в этом убедиться.

Кукла, ну-ка спой!

Кукла, хочешь вишенку?

Это стихи двадцать седьмого года — шутовская проба музыки-марионетки, глубоко чуждой ему, но узнаваемой все чаще — и там и сям по соседству. Как презирал он услужливых бодрячков, как тошно бывало ему! Да, и он писал оратории — но они были оплачены трагедией. Или это была пена морская — чистый артистизм — пена горькая и ликующая. Где она? Нет ее. Осталось только море.

Но парча на куклке занимала его какое-то время. Потом занимать стало рублище, как Пушкина — железный колпак юродивого. Тебе парча, обращается он к кому-то уже лет через десять, а мне рублище — ото всей ризницы. Жизнь и метафора всегда были для него одно. Так и явилось на нем рублище (некогда имевшее вид костюма или пальто), и так для обходных нужд разменял он свой глубокий баритон на мелкий фальцет и сыпал им где-нибудь в присутственном месте... Непогрешимая музыкальности! Образ какой-то размельченной жизни должен был соткаться из этих ползувков-полусловечек. И это долгополое нелепое пальто, и тяжелый замусоленный портфель, и мелкие шажки, какими перебегал он, полусогнувшись, от стола к столу... И вдруг — удивительная грация, с какой целует он нежную ручку, и теплое, милое не то слово, не то междометие, а то и совсем ничего, но, кажется это прозвучало, потому что запомнил навсегда... *всё*

— Беда, девочки, разрезали меня пополам! До октября Галактион пессимист — после октября Галактион оптимист!..

Так писали критики. Тень одного из них является здесь и спрашивает меня: где жизнеутверждающий пафос твоего Галактиона? Я отвечаю: везде и всюду.

Пытаясь разглядеть музу позднего Галактиона, я вижу лицо — той, первой — свет и что-то вроде скользнувшей

легкой улыбки. Преображенное страдание — мир всему прекрасному в жизни. Мадонна, быть может, была не такой, когда не была мраморной. Каждый знает свое. Быть может, она тигрицей бросалась на легионеров? Быть может, окаменела тогда, а потом, постепенно... Путь к Милости — от гнева — ею совершен. И в этом — надежда на путь человечества. Шелли... И вот еще вечный спутник — Микель-анджело. Бог мрамора, знавший о человеке все — и потому любивший его. Материал сам все знает — часто говорил он. А поэт нашего времени словно отвечал: прекрасны уже ткани тела — не потому ли прекрасно все оно — в одном очерке?

Резец Микельанджело был целомудрен — как звук Галактиона, и ему, такому, откликалась вся глубина жизни.

Что там таилось и мерцало?

Я все сказал... О, шен, мерцало,

Судьбы огромной на краю

В ладонь замерзшую мою

Ты, бездыханная, упала.

Весна, я жив... я слезы лью...

— Лети, черная ласточка, — отвечала ему старая неспя. Это был апрель пятьдесят шестого — еще три года — и грянул последний март — семнадцатым числом. Порыв безумия или величайшей Трезвости выбросил Галактиона из окна больницы. Или естественный порыв ветра. Вольная смерть — напомню о пороге — предполагает великодушное доверие живых к се неизбежности в то мгновение. Но разъясняется это — годами. Так Пушкин утвердил навеки доброе имя Натали, так Маяковский оградил имя Лилино от несносных изыскателей неизвестно чего... Галактион вывел смерть из категории печальных событий — и последний грех обернулся доблестью. Еще в гимназии он знал девятую заповедь: не вели говорить плохо о друге своем. В грузинском фольклоре 9 — священное число.

Он жил и умер как рыцарь чести.

Уютно в доме, если дождь в окно —

Как в борт волна — и вдрыг — до верхних палуб! —

В иллюминаторе черным-черно.

Вот плач его очей: ни слез, ни жалоб.

Пушкин — это видно по черновикам — ограждал нас от слишком сильных впечатлений. До края бездны он не доводил читателя. Слабое сердце, не соблазнись.

Яркий, жестикулирующий в стихах Галактион — сдержан

ся в своем творчестве в целом. Он оставил нам этот условный простор: допой, договори — ты — что мог бы я... Слеза Демона прожгла камень — слезы Галактиона стоят у него в очах.

Оставь герою сердце — к этому поэт приглашал друга. Прекрасно! Ошибаться здесь не страшно. И лучше ошибиться здесь — чем не ошибаться там. Там — в стане малодушных. Там — расхожий опыт. Здесь — реальность «из ничего» возникающих связей. Духовность — уже материально ощутимая, еще неизвестная... Легенда. Слова о развитии и т. п. — пустой звук вне гениальной конкретности. Что же — он — мне сказал?

Внутри Человека есть оплот, какого не может еще найти в себе людское множество. И то, что может повергнуть в бездну унижения и стыда целое человечество — не сможет унижить Человека. Утраты огромны — и тем более они впрок! Это было написано по-грузински, и я сказал себе: вот народный поэт! Поверх барьеров родины и лада — он обратился к миру со словами надежды. Поэзия непереводама, да, но прекрасно и просто пересказывается то, что действительно высоко — как Памир или Гималаи — и так же редко.

Так пером блаженно водит

Ангел Третьего завета.

Говорить с целым человечеством — на языке глубочайших лирических откровений! Вот путь. Договориться с каждым — чтобы Общественный договор возник сам собой. Вот — связи, и кроме глубоких и сердечных — иных не надо! То есть пусть армируют свой бетон — но не путают его назначение.

Ребенок упал на мостовую; отлетел первый осенний листок — Природа обращается к каждой утрате и слышит каждую боль. А мировые бури? Кровь? Поверьте — если можете — это трудность Прекрасного. Моральная несостоятельность зла определит его судьбу. Гармония поверяет мир. Оглянитесь на мироздание. Шелли..

Все это я принял безоговорочно. Я думал о таких вещах.

Сознаю: некоторое озорство побудило меня искать свободу в столь жестокой необходимости, как перевод. **Непереводимость** Галактиона была первым стимулом: ах так??!

Но это детали.

Я знал, как такая необходимость ломает кости переводчи-

кам — или размягчает их. Размягченные и переломанные, они уже **все могут...**

Поэзия, бойся переводчика — доверься поэту!

Я не хочу обидеть это занятие, но хочу обозначить то безвольное, бесхребетное состояние, в котором, если уж оказался, одаренный человек не имеет права писать. Он все обезволивает. Все одрябнет у него под рукой. Каждой мелочи он подчинится — а целое погубит.

Здесь скрыта дилемма. Как будто близкие — но совершенно разные вещи.

Смирение — и послушание. И первое — элемент высокой стратегии, в второе — результат полного поражения. Пушкин Опекушина смиренно склонил голову. Гоголь Томского послушно выпятил грудь..

Смирению, благоговейно относитесь к жизни подлинника. Не помешайте ей сказаться — как сама она хочет. Между вами нет посредников! Нет правил хорошего тона — их сочинят потом! Вы — создаете — жизнь. Какие тут посредства?

Птица вылетит и запост — если вылетит. А в клетке она плачет.

С именем Пушкина, как начал и не расставался, я закончу свою оду. В наброске 1821 года он присягает свободе:

ЭЛЛЕФЕРИЯ! Пред тобой

Затмились прелести другие...

Он выбирает греческое имя — честь Байрону и проба великолепного звучания в русском эфире. Жаль, не привилось. Какой-то протокол привился, а это — нет.

На юге, в мирной темноте,

Живи со мной, Эллеферия,

Твоей... красоте

Вредна холодная Россия.

Эпитета нет, но угадывается красота неразвившаяся, ревниво хранимая и назначенная какому-то позднему сроку.

Рядом с именем — почти мраморным! — я хочу поставить грузинское ТАВИСУПЛЕБА¹. Оно наполнено содержанием — уже одной легендарной жизни. Оно достойно широкого гражданства.

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ.

¹ Тависуплеба — свобода (груз.).

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Георгия Маргвелашвили	5
● Недостижимостью святою...	9
Цамеба	9
Лирой Гамлета	10
Воля	11
Утешение	11
У окна	12
Отступник	13
Ты ждешь?	14
Оплаканный ветром	14
● Убил в ущелье охотник рыжий...	15
● Упал ребенок...	15
Третий — Эдгар	16
● От всенощной...	16
● Он разорвал кольцо поруки...	17
Старый дворец	18
Где кончалась улица	18
Кто бы видел	19
Примирение	20
Нагая	20
Запоздалая мечта	21
● Рассвет за горою...	22
● За полночь над пеной прибоя...	22
К молодости	23
Осеннее утро	23
● Красок тихое пыланье...	24
Омнибус	25
Тост за тебя	26
Из кафе	26
Лакме	27
● И снова мне снилось...	29
● Тот нежный юноша-мечтатель...	29

Повторение	30
Продолжение	31
По счастью звездного часа	32
Знамена!	33
Обращение к солнцу	34
В тени Мтацминды	35
Не жалуйся на время	35
Мировые бури	36
Офорт	37
Видение города	37
Несколько дней в Петрограде	38
На площади	41
К свободе	43
Город на воде	43
Возвращение	44
Вымпел поэзии	45
Довин-довли	46
Девятьсот восемнадцатый	48
Темнеет	51
Молитвы ради	52
● Луна чиста до белого каления...	53
Пиримзе	54
● Вино туманно-голубое...	55
Прощание	55
Настает осень	56
Тбилиси	57
● С мечом кровавая Беллона...	59
Элегия	60
Родина черного люцифера	61
● Был конец октября...	61
Появились орхидеи...	63
Да будет ветер!	64
● Постерся медный грош...	65
Когда луна светит днем	65
Русскому поэту	66
● Неба не видели...	67
Поля	67
О бытне, ликуй и длись!	68
● Однажды только...	69
Розы	70
Волнуются	71
Мост Ринальто	71
За что?	72
Чаша пламени	73

● Шла по лугам...	74
Колблется арфа	74
Он запер дверь	75
Кукла	75
Жду урагана	76
Город под водой	77
Няня	80
Белые ветры	81
Ты опять горишь восторгом	82
Однажды вечером	82
Гнева и язв не таи от народа	87
Эта старая муза	87
Не пойму	88
Маме	89
Озеро в горах	89
● Веди же, Миндиа, вперед...	90
К родине	91
Надпись на книге «Манон Леско»	92
Как листья с дерева	93
С поезда	94
Пойдем со мною	94
Исключение	95
Грузинский орнамент	97
● И поблекла и позолотела...	98
● Надежду с тобою делю...	99
● Тень каштана...	100
Весна моя	101
Ода вольности. Послесловие переводчика	103

**ТАБИДЗЕ ГАЛАКТИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
СТИХИ**

Редактор **М. Гржендзица**. Художник **А. Сарчимелидзе**. Художественный редактор **С. Цинцадзе**. Технический редактор **Э. Ахсахалян**. Корректор **Л. Шахназарова**.

ИБ — 344

Сдано в набор 26.07.1978. Подписано в печать 18.11.1978. Формат 70×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1. Гарнитура журн. рублен. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,075. Учет. издат. л. 4,5. Тираж 15.000. Заказ № 2947.

Цена 50 коп.

Издательство «Мерани». 380008 Тбилиси, пр. Руставели, 42. Тбилисская книжная фабрика Госкомиздата ГССР. 380059 Тбилиси, пр. Дружбы, 7.

გალაკტიონ ვასილის ძე ტაბიძე
ლექსები
(რუსულ ენაზე)

